

# АНАТОЛИЙ ИВАНОВ

СИБИРИАДА

Вечный зов

Том 2

Сибиряда

Анатолий Иванов

**Вечный зов. Том 2**

«ВЕЧЕ»

1976

**Иванов А. С.**

Вечный зов. Том 2 / А. С. Иванов — «ВЕЧЕ»,  
1976 — (Сибириада)

ISBN 978-5-4444-5315-5

Широки и привольны сибирские просторы, под стать им души людей, да и характеры их крепки и безудержны. Уж если они любят, то страстно и глубоко, если ненавидят, то до последнего вздоха. А жизнь постоянно требует от героев «Вечного зова» выбора между любовью и ненавистью...

ISBN 978-5-4444-5315-5

© Иванов А. С., 1976

© ВЕЧЕ, 1976

## Содержание

Часть четвертая. Огонь и пепел	6
Конец ознакомительного фрагмента.	127

# **Анатолий Иванов**

## **Вечный зов. Том 2**

© Иванов А.С., наследники, 2016

© ООО «Издательство «Вече», 2016

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2016

Сайт издательства [www.veche.ru](http://www.veche.ru)

## Часть четвертая. Огонь и пепел

Война шла уже почти два полных года...

Четырнадцатого апреля был ледолом на Громотухе, на реке ворочались, сверкая синими боками, тяжелые, разбухшие от солнца и воды ледяные пластины, толкались, терлись друг о друга, как бараны на узкой дороге, и медленно ползли вниз.

Весь день светило по-весеннему горячее солнце, в синем, уже очень глубоком небе весело сияли неприступные утесы Звенигоры. Временами то одна, то другая каменная громада нестерпимо вспыхивала бело-голубым огнем, сыпала во все стороны искрами. Было такое впечатление, будто в недрах молчаливой Звенигоры постоянно бушует яростный огонь, горячее пламя проедает каменные стены то в одном, то в другом месте и со свистом вырывается наружу. И лишь из-за расстояния свист этот не слышен.

Поглядывая на сверкающие вершины, на залитые солнцем, мокрые еще, пустынные и унылые пашни, по дороге из Шантары в Михайловку ехал председатель райисполкома Иван Иванович Хохлов.

За год с небольшим работы в исполкоме Иван Иванович сильно похудел, всякая одежда на нем болталась, словно была с чужого плеча. Круглые щеки опали, даже когда-то полные и розовые, как у ребенка, губы сейчас одрябли, обесцветились. И лишь круглые глазки смотрели на мир все так же по-ребячьи весело и неунывающе.

Председатель райисполкома ехал в «Красный колос» для того, чтобы в последний раз уточнить колхозный план хлебосдачи на нынешний год, глубоко втайне имея мысль – нельзя ли этот план на пять-шесть сотен центнеров увеличить. Думать об этом Хохлову было тяжело, ибо он понимал – никакое увеличение хлебопоставок колхозу не под силу. В прошлом году «Красный колос» снова сдал государству хлеба больше всех в районе, вывез на шантарский пункт «Заготзерна» все, что было выращено, до последнего зернышка. И хотя злые языки в районе глухо поговаривали – не до последнего, умеет, мол, Назаров и подальше от стола сесть, и рыбку съесть, – Ивану Ивановичу было известно: на трудовень михайловским колхозникам прошлой осенью было выдано всего по двести граммов ржанных отходов да немного фасоли. Хохлов своими глазами видел, что люди жили в основном на картошке, а в жалкие крохи серой, как дорожная пыль, муки из отходов подмешивали ту же картошку, семена лебеды, тыквенную мякоть. Хлеб из такой муки получался тяжелым, как кирпич, мокрым, горьким на вкус. Для этого окончательного уточнения плана хлебосдачи Иван Иванович мог вызвать Назарова, как и других председателей колхозов, в райисполком, но делать этого не стал – Панкрат Григорьевич за прошедшую зиму очень сдал, кашель душил его насмерть. Несколько раз Иван Иванович и Кружилин заговаривали с ним об отправке на лечение, но Панкрат лишь усмехался невесело и говорил:

– Какая меня больница теперь вылечит? Вот до лета доживу – барсучье сало буду пить. Ничего, оклемаюсь.

Въехав в Михайловку, Иван Иванович поразился, как скоро обветшала без мужицкой руки деревушка, покосились, а кое-где упали плетни и заборы, прохудились соломенные повети, во многих домах покривились распатанные ветром ставни. И как за два военных года обносились люди – все дети бегают в сплошном рванье и босиком, несмотря на то что земля очень холодная, а в затененных местах просто стылая.

Иван Иванович несколько раз бывал в Михайловке, многие знали его в лицо, и он знал многих, хотя не мог запомнить всех имен или фамилий. Поздоровался с ним какой-то старик, гревшийся на припеке у завалинки. За плетнями, на огородах, копошились женщины и подростки, очищая землю от прошлогодней ботвы, кое-где огороды уже вскапывали. Некоторые

женщины, когда Хохлов проезжал мимо, прекращали работу, выпрямлялись и тоже здоровались.

Взрослые были одеты не лучше, чем дети, – в обтрепанные, измызганные одежки, в залатанные кофты и юбки. Вся эта обветшалость, эта бедность, почти нищета зимой не так бросалась в глаза, но стоял снег, сняли люди полушубки да фуфайки – сразу выперла, мозолила глаза, и ничего нельзя было с ней поделать: за последний год для продажи населению не отпускалось ни метра мануфактуры, ни пары сапог или ботинок, ни килограмма гвоздей. Те жалкие крохи товаров, поступающих в район, направлялись в магазины заводского ОРСа. Зато завод работал, выпускал снаряды и минометы...

Подъезжая к колхозной конюшне, чтобы оставить там лошадь, Иван Иванович обратил внимание, как заполошно кричат играющие на солнечной полянке ребятишки. Он вспомнил, как приветливо поздоровались с ним сидящий у завалинки старик и женщины из-за плетней. Да, одеты все были плохо, но человеческого уныния не чувствовалось, голодных глаз, изможденных от недоедания лиц, как во многих других деревнях, Иван Иванович в Михайловке не заметил. Это одновременно радовало и порождало неприятную тревогу: а вдруг да в разговорах о Назарове есть какая-то доля истины? Вдруг да наловчился этот мужичок утаивать хлеб от государства? В такое-то время!

– Здравсте! Распрягать, что ли? – услышал Хохлов ломающийся мальчишеский басок и очнулся от задумчивости. Коробок его стоял возле конюшни; невысокий, начинающий раздаваться в плечах подросток с уже по-мужицки широкими, крепкими ладонями держал лошадь под уздцы.

– А-а, Володя Савельев! – узнал его сразу по серым глазам, по белесым, давно не стриженным волосам Иван Иванович. – Распрягай и покорми жеребчика... Ну, как живете, Володя? Мать как?

– Ничего живем... – Володька отпустил чересседельник, развязал супонь, ловко отстегнул гужи, вывернул дугу, бросил на землю одну оглоблю, другую. – Мать в амбарах с семенами возится. Ничего, все здоровы.

– Отец-то пишет?

– Было письмо на благовещение.

– Когда-когда?

– Да в конце марта, говорю.

– Ты уже и религиозные праздники знаешь?

– А кто их в деревне не знает, – проговорил старый Петрован Головлев, выходя из конюшни с вилами в руках. – Здоров живешь, Иваныч!

– Здравствуй, Петрован Никифoryч.

– Письмо на благовещение по женским приметам – благая весть, значит, – продолжал старик. – И-их, что тут было после этого письма, сколь разговоров! Худо-бедно, мол, а цельный год, до другого благовещенья, ни огонь, никакое железо Ивана теперь не возьмет...

Он прислонил вилы к стенке конюшни, вздохнул.

– Бабыё – глупьё, а легче им с ихними приметами.

– Здоровье-то как, Петрован Никифoryч?

– А чего нам, бывшим петухам? Курочек теперь не топчем, здоровье и берегается.

Володька Савельев уже распряг лошадь, увел в конюшню и там покрикивал на нее, водворяя в стойло. По-прежнему пекло солнце, Головлев, присев у стены на корточки, свертывал папиросу.

– Да я вот вижу – у вас все здоровы и сыты, – промолвил Хохлов. – В других колхозах мало сказать – хуже. Голодают люди.

– В других, – усмехнулся Головлев, слюнявя папиросу. – В других и председатели другие. А наш-то Панкрат Григорыч...

Что-то прокололо будто сердце Хохлова, оттуда заструилось кислое, холодное, во всей груди стало пощипывать.

– А что он... ваш? Чем же от других отличается?

– Ну, он что... Сам подышает, а людям не дает. Бабенки наши говорят: скончается – памятник ему поставить надо...

– За что?

– Дык за что человеку памятник ставят? За душу его человеческую.

Иван Иванович зло глянул на палящее солнце и начал старательно, на все пуговицы, застегивать истрепанное демисезонное пальто, будто ему стало холодно.

– Душа-то у людей разная бывает, Петрован Никифорыч, – промолвил он с горьковатой усмешкой. – То есть человечность эта разное содержание имеет...

Старик поднял голову, поглядел на председателя райисполкома пристально, долгим, пронизывающим взглядом. Глубокие морщины вокруг глаз его были неподвижны, а потом шевельнулись. И он тут же опустил дряблые веки с редкими, выцветшими за долгую жизнь ресницами.

Потом Головлев некоторое время молчал. Он все сидел на корточках, выгнув спину, чуть свесив голову в скатавшейся овчинной шапке, обнажив старческую, вдоль и поперек изрезанную глубокими бороздками шею. Глядя на эту шею, на всю фигуру старика, Хохлов вдруг подумал, что Головлев не так прост, как кажется с первого взгляда, что проницательности ему не занимать, он догадался о его подозрении относительно Назарова – и вот обиделся за своего председателя. Но ведь такая обида тоже несправедлива! И Головлев, и многие другие колхозники могут защищать своего председателя, исходя из сугубо эгоистических интересов, именно за то, что тот, как поговаривают, наловчился утаивать от государства какую-то часть урожая и тайно делить его потом меж колхозниками.

– И за что ему судьбина такая? – качнул головой старик. – Полипов, прежний председатель райисполкома, этак же напраслины всякие возводил на Панкрата. Ты вот новый начальник – и тоже... Всяким злобным разговорам про Назарова, выходит, веришь?

– Я, Петрован Никифорыч, не то чтобы верю...

– А вот коли дураком какой над народом стоит, так на него у тебя подозрение в нету?

Головлев сердито плюнул на недокурную самокрутку, сунул ее за козырек шапки и поднялся.

– Сытый, говоришь, народ у нас в колхозе? Так это что, в злость тебя кидает? Ты песенки бы, что ли, веселые пел, если бы народ и у нас с голодухи запух? А хлеб для фронту кто сеять бы стал?

– Да ведь сытость сытости рознь! – прикрикнул Хохлов и покраснел, чуть отвернулся. Иван Иванович всегда краснел и смущался, когда приходилось резко говорить с людьми. И прибавил уже опять мягко, виновато: – Сытость-то, Никифорыч, по-разному ведь можно, как бы это выразить... обеспечить.

– Вот-вот! – встрепенулся старик. – Именно...

Головлев шагнул к стенке, взял свои вилы и проворно обернулся, будто хотел с этими вилами броситься на председателя райисполкома. Но воткнул их рожками в землю, обе заско-рузные ладони положил на конец черенка, уперся в руки подбородком, заросшим сивыми волосками.

– Вот что обрисую я те, мил человек... – Он глядел не на Хохлова, а куда-то на Звенигору, на взметнувшиеся в синюю высь неподвижные каменные громады, облитые щедрым желтым солнцем. – Обрисую, значит, а ты начальственной своей мозгой уж пошурупай...

Последние слова неприятно резанули Хохлова, даже не сами слова, а тон, каким они были произнесены. Голос старика был холодный, насмешливый, почти издевательский. Но Иван Иванович смолчал.



– Прошлогод Панкрат особую бухгалтерию завел. Какая семья сколь картошки накопила, сколь тыквов с огорода сняла, морковки там, сколь кадушек огурцов да капусты насолила... Время прошлой осенью, помнишь, тяжелое было, непогодь много стояла. Огородишки-то Панкрат дал людям все ж таки убрать. И завел, значит, этот подсчет. Сена каждому дал накосить для скотины. И опять в свою тетрадку занес, кто сколь копешек поставил али стожков. А для чего?

– Интересная бухгалтерия, – вместо ответа неопределенно сказал Хохлов. – Ну и что же?

– Оно кому интерес, а для него забота... Сколь в каждой семье рабочих рук и сколь едоков, какая имеется скотинка, сколько курей, утей, Панкрат и без записи помнит. Он, зараза, все знает, даже у кого корова али коза сколько молока дает...

– Вот как?

– Этак! – согласно кивнул Головлев. – А имея, значит, в сознании полную картину, и распоряжается. Кого лишний раз не отпустить с колхозного поля, а кому и дать денек-другой на огороде своем покопаться, как бы на общественной работе тяжело ни было. Кому подводу выделит, скажем, для подвозки дров, а кто и на себе, на ручной тележке, привезти может.

– Да... Да, да, – размышляя о чем-то, уронил Хохлов.

– Что «да»? Одобряешь, что ли? – напрямик спросил Головлев.

Иван Иванович поглядел на старика, улыбнулся.

– Не знаю, не знаю, Никифорыч... Шурупаю вот... Ну, и как люди к такой бухгалтерии относятся?

– Подчиняются люди без прекослова ему. Потому что знают – Панкрат ничего такого зря не скажет, напрасный поступок не произведет. Кто, может, и поворчит, не без того, а в душе-то согласный с председателевым указом... Потому народ и сытый, ежели без хлебушка сытым можно быть. Ведь все, все до зернышка мы сдали прошлогод в фонд обороны. Потому что тоже понятие имеем...

Старик умолк. Молчал и Хохлов. Безмолвие между ними установилось тяжелое, неловкое. Иван Иванович тер кулаком подбородок, а Головлев опять смотрел на гранитные утесы Звенигоры. Потом выдернул из земли вилы, попробовал их зачем-то на вес.

– А ты с подозрением... От стыда-то куда деться, прости ты господи...

И ушел куда-то за конюшню.

\* \* \*

Панкрата Назарова Иван Иванович нашел возле колхозных амбаров. Он в грязном дождевике, с непокрытой головой (фуражку держал в руке) стоял у брочки, на которую две молодые женщины грузили чем-то набитые мешки. Они вытаскивали их из черного проема амбарных дверей и легко забрасывали на повозку.

Обернувшись на хруст шагов, Назаров чуть шевельнул спутанными, жесткими, как прошлогодняя стерня, бровями, прежде чем поздороваться, прошелся взглядом по Хохлову с головы до ног, будто неодобрительно оценил его наряд. И опять стал глядеть, как грузят мешки.

Женщины, обе чернявые, стройные и, несмотря на замызганные юбки и пыльные кофточки, очень привлекательные, были не местные, из эвакуированных. Одна была с косой, другая острижена коротко, не по-деревенски. Поздоровавшись с Хохловым, они почему-то глянули друг на друга, хохотнули, убежали в амбар и долго не появлялись.

– Спать там разлеглись? – прикрикнул Назаров.

Женщины тотчас появились, неся очередной мешок. Обе виновато глядели вниз, под ноги, губы их были крепко поджаты. Чувствовалось, обеим опять хочется рассмеяться.

– Кобылы, язвы их... Все ржут и ржут, спасу нет, – проговорил Назаров, когда женщины опять скрылись в амбаре. – Кровь у них колобродит, ты не обижайся.

– Ничего, ничего, – промолвил Хохлов.

– Начнем сев – кровь-то утихомирится, поостынет.

Панкрат Назаров был так худ, что дальше, казалось, худеть и некуда. Некуда дальше было ему и чернеть – кожа на шее, на лице и даже на руках давно сделалась землистого цвета. Только когда его душил тяжкий кашель, лицо наливалось сукровицей, неприятно багровело.

Припомнив, как багровеет при кашле лицо Назарова, Хохлов почувствовал раздражение на самого себя и вину перед этим человеком. «От стыда-то куда деться, прости ты господи», – сами собой зазвенели в голове слова Головлева. «Это действительно, действительно... – подумал Хохлов. – Ударит же в голову...»

Опять женщины вынесли из амбара и забросили на бричку очередной мешок. Они были молоды, каждая была переполнена нерастроченной женской силой. А Панкрат Назаров стар, болен, жизненные соки из него уходили. Присутствие двух молодых женщин только подчеркивало страшный контраст между молодостью и старостью, бытием и смертью. И Иван Иванович Хохлов вдруг остро, до щемящей боли, почувствовал ужасную и неумолимую жестокость жизни.

Голосом хриловатым, надорванным кашлем, Назаров промолвил:

– Последние отходы замели. На мельницу отправляем.

– Покажите, – тоже хрипло сказал Хохлов.

Он потребовал это не потому, что в чем-то еще сомневался. Нет, Иван Иванович просто хотел посмотреть на эти зерновые отходы.

– Софья, Татьяна, развяжите.

Когда женщины развязали мешок, Иван Иванович сунул туда руку, взял горсть отходов. То была смесь семян разнообразных сорняков – овсюга, сурепки, мышиного горошка – и щуплых ржаных зерен... Из этой-то смеси и получилась та серая, как дорожная пыль, мука, из которой пекли прогорклый хлеб.

– Для посевной берег, – кивнул председатель колхоза на груженую бричку. – Мельница, слава богу, своя. Перед войной еще зачали строить на таежной речке. Не был у нас на мельнице-то?

– Нет.

– Загляни как-нибудь. Пруд там богатый получился, красивый. Покуда комарья нет, просто санаторий... Ну все, что ли, сгрузили?

– Все, – сказала женщина с косами.

– Тогда с богом. Да смотрите, там мосток в распадке распатало нынче...

Женщины взобрались на бричку, поехали. Они сидели рядышком, подставляя солнцу спины и плечи, и было теперь в их фигурах что-то жалкое, сиротливое. Председатель колхоза и Хохлов провожали их взглядами, пока бричка не скрылась. А когда скрылась, Назаров проговорил:

– В колхозе есть еще четыре мешка гороховой муки. Тоже сберег на посевную. Смешаем с этим, – Назаров кивнул в сторону, где скрылась бричка, – и лепешки печь будем. Ничего. Айда к семенному амбару, глянем, что там...

Семенной амбар стоял прямо на току. Под навесом стучала веялка, две женщины крутили ее, а третья большой железной плицей засыпала пшеницу. В одной из крутильщиц Иван Иванович узнал Агату Савельеву, а зерно насыпала, легко сгибаясь и разгибаясь, жена Назарова, Екатерина Ефимовна. Лет ей было разве чуть поменьше, чем Панкрату, время так же избородило ее шею, щеки, все лицо и не тронуло почему-то лишь глаза – удивительно ясные, свежие, как обмытые речной волной коричневые камешки. Среднего роста, худенькая, с покатыми плечами и все еще не опавшей грудью, она со стороны всегда сходила за молоденькую девушку, и лишь вблизи каждый убеждался, что это старуха.

Когда подошли Хохлов с Назаровым, Екатерина Ефимовна беспокойным взглядом скользнула по мужу, но сказать ничего не сказала, только кивнула на приветствие Ивана Ивановича и отвернулась. Назаров же будто не заметил ни жены, ни Агаты – никого, присел перед горкой пшеницы, взял горсть зерна, долго пересыпал из ладони в ладонь, будто играл. Наконец тяжело разогнулся.

– Решили вот еще раз переветать, отбить какие похудевшие за зиму зернышки. И сеять-то ее, пшеницу, в наших местах не надо бы. Да вот... Ладно, сотню-другую гектаров посеем... Айда в контору, что ль, для разговора.

Поднялся и пошел, насупившийся, сердитый, не обращая больше ни на кого внимания – ни на встречавшихся колхозников, ни на Ивана Ивановича.

\* \* \*

В конторе Назаров сел за свой скрипучий стол, пригладил обеими ладонями торчавшие по вискам волосы, спросил:

– Громотуха, говорят, нынче пошла?

– Вскрылась под утро.

– Слава те господи. Полая вода и память о зиме уносит. Как на фронте-то?

– Да что на фронте... – Хохлов присел на деревянный диванчик у окошка. – Идут бои под Новороссийском, было сегодня утром сообщение. Подвигаются наши к Крыму. А так в общем тихо. Не читаете разве газет, не слушаете радио?

– Читаем, как же... когда время есть, – усмехнулся Назаров. – Да только что сейчас грому ожидать? Это попозже начнется, в июне, может. Да и то к концу.

– Да? – с любопытством спросил Хохлов. – Именно в июне? Откуда ж вы знаете?

– А чего знать? Война – это навряд нашей крестьянской страды, без поры да без подготовки не начнешь. Мы вон и то... Сам ты видел – последние отходы сегодня заскребли, чтоб какой ни на есть хлеб иметь для посевищиков. Все ресурсы свои, словом, кинули. А страна-то поболее, чем колхоз. Да после Сталинграда сообразоваться надо. Легко, что ли, он дался... Этот, Семка Савельев, сын Федора, там, говорят, воевал? – неожиданно спросил Назаров. – Анна хвасталась – орден какой-то ему дали.

– Медаль «За отвагу».

– Ишь ты тихоня... – Назаров проговорил это еле слышно, спрятав под густыми бровями глаза. – Танком командует вроде бы?

– Механик-водитель он. Жена мне его говорила. Позавчера письмо от него получила.

– Энта... Наташка-то? Так ее, кажись, зовут? Что эвакуирована была?

– Да, да...

– Ага... Главное – что живой.

Голос старого председателя дрогнул, губы затряслись, и Назаров прикрыл их, прижал ладонью. «Сына вспомнил», – подумал Иван Иванович и, подавив в себе вздох, опустил глаза.

О сыне Назарова Максиме до сих пор не было ни слуху ни духу.

Поднял голову Иван Иванович, когда председатель глуховато заговорил:

– Мы вот страду заканчиваем всегда на полном издыхе. Оглядишься кругом – боже ты мой, ить и люди, и скотина, и машины железные изнемогли. Зато последний гектар убрали, последнюю лунку картошки выкопали. И тут только страх приходит: да как это сил еще хватило? А?

– Да, да, – встрепнулся Хохлов, – я, собственно, очень хорошо это знаю...

– Нет, ты покуда не знаешь, – нахмурился Назаров. – Ты пока умом только можешь понять. А своей шкурой все это почувствуешь, когда страды три-четыре вот проведешь сам. Не обижайся уж...

– Что вы, что вы! Это вы правильно, – согласился Хохлов, действительно нисколько не чувствуя себя обиженным.

– Да как еще сил хватило! – повторил Назаров. – Оглядишься – и тут же сразу видишь: там прореха, там вовсе дыра. Начинаешь латать... Так оно и в государстве. Не-ет, никак, я думаю, ранее, чем к середине лета, не собратся нам для такого же удара, как в Сталинграде. Надо и новые полки собрать, обучить, и всякого вооружения накопить – и пушек, и самолетов, и танков этих, на которых Семка воюет. Подвезти все это к фронту – и то время надо. А ведь их надо еще и сделать... Значит, ты насчет прибавки нам плана хлебосдачи приехал?

Переход Назаров сделал такой неожиданный, что Иван Иванович вздрогнул.

– Да, собственно... – Он секунду, другую и третью глядел прямо в глаза председателю. И тот не отводил взгляда, лишь зеленоватые глаза его светились сухо, невесело, в них стояла какая-то боль. – Район никак, никак не выходит с планом, если вам... вашему колхозу не прибавить.

– Сколько прикинул на прибавку?

– Многовато. Я понимаю, что многовато. Но что же делать? Шестьсот центнеров.

Ни на лице, ни в глазах Назарова не отразилось ничего, они поблескивали все так же холодно, как блестят омытые утренней росой зеленые листья.

– Всем прибавляем, – вымолвил Хохлов, чувствуя, что этот аргумент звучит неубедительно.

– Я знаю, – спокойно произнес Назаров. – Мы сдадим эти добавочные шестьсот центнеров.

Иван Иванович ждал чего угодно, даже согласия на добавочный план. Не ожидал он лишь, что Назаров произнесет эти слова так буднично, просто и спокойно.

– Панкрат Григорьевич! – Хохлов невольно встал, шагнул к столу. – Да если ты это делаешь... Эти добавочные шестьсот центнеров... Мы ведь понимаем в районе, какой у вас план! Если сделаешь, мы тебя... Я буду первый ставить вопрос о награждении тебя орденом!

Назаров слушал теперь угрюмо, будто теперь-то только и зашла речь об этих дополнительных сотнях центнеров хлеба, но не перебивал. Однако Хохлов, заметив эту угрюмость, и сам смолк.

– Это, Иван Иванович, не я сделаю, – проговорил Назаров. – Это люди сделают... Вон те бабенки, Татьяна с Софьей, которых ты видел. Те, что семена провеивают... которые сейчас на своих огородах копошатся. Они будут хлестаться сутками на посеве, на прополке, на жатве, питаюсь лепешками из отходов да картошкой... Это им все ордена положены.

Иван Иванович Хохлов всегда чувствовал себя перед Назаровым скованно. Он называл его на «вы», как, впрочем, и всех других. Назаров обращался к нему всегда на «ты», и Иван Иванович считал это совершенно естественным. Но сейчас он ощутил себя перед этим старым, больным человеком особенно маленьким и беспомощным.

– Да, да, конечно! – воскликнул он, краснея от охватившего его смущения. – И их тоже представим! Будем требовать, чтобы колхоз целиком наградили!

– Ну, попробуйте, – усмехнулся Назаров, качнул головой. – А так-то ты человек, Иван Иванович, душевный.

\* \* \*

Светлый апрельский день еще не кончился, но клонился уже к вечеру, когда Хохлов и Назаров вместе подошли к конюшне. Тот же Володька Савельев обоим запряг лошадей и, сделав свое дело, молча пошел прочь.

– Погоди-ка, – остановил его Иван Иванович. – А ты почему все еще здесь? Уроки у тебя есть на завтра? Или уже приготовил?

Парнишка опустил лохматую голову, стал глядеть на свои растоптанные, разбитые в прах сапоги.

– А я не учусь больше.

– Как же?

– Так... – пожал плечами Володька и ушел, по-прежнему глядя куда-то вниз.

Хохлов взглянул на председателя колхоза – тот, подбирая вожжи, скривил в угрюмой усмешке губы.

– До семилетки мать его дотянула... Я все удивлялся: двужильная, что ли, она? Прошлогод надо было в Шантару его отправлять – у нас тут семилетка всего. Да на какие шиши?

Назаров тяжело постриг бровями и умолк.

– Я понимаю, понимаю, – вздохнул Хохлов.

– Оно все мы понимаем. Да в шкуре ее материнской никто не был... – Председатель сел на дрожки, тронул вожжи.

Хохлов забрался в свой плетеный коробок и поехал следом.

На выезде из деревни, возле жердяной изгороди, за которой уныло торчала хилая избенка с прогнившей крышей, председатель натянул вожжи, прокричал:

– Эй! Антонина! Будет прохладяться! Живо грузи свои шмутки, и чтоб через час в бригаде. По дороге к речке подверни.

– Поняла, – ответил Назарову откуда-то женский голос. – Счас я, мигом.

Оставив у плетня свои дрожки, Панкрат догнал коробок Хохлова. С легкостью, которой Иван Иванович не ожидал от него, на ходу вскочил в коробок, пояснил:

– Повариха тут живет, Тонька. Сиротой с пяти лет, так и выросла, горемыка. Я до свертка во вторую бригаду доеду с тобой...

Жидкий еще, не набравший пока запаха оттаявшей земли воздух заметно похолодал и стал, кажется, еще жиже. По высокому пустынному небу плыл огромный журавлиный клин, оглашая тихие, не проснувшиеся еще поля тоскливым стоном. Другая журавлиная стая летела метрах в двухстах от дороги, по которой ехали молчком Хохлов и Назаров. Она спускалась все ниже, тяжелые птицы медленно и устало махали крыльями, заходящее солнце отсвечивало на их длинных, вытянутых назад ногах.

– Голод не тетка, – проговорил Назаров, наблюдая из-под насупленных бровей за спускающимися птицами. – Ишь, даже людей не боятся... Всю ночь кормиться будут.

– Чего они на этом поле найдут?

Старый председатель пожал плечами.

– Журавель – он как китаец. Где зернышко, где червячок какой – и сыт... Нынче много журавля будет. Пострелять бы можно, да жалко.

– Для чего пострелять?

– Для чего? – усмехнулся Назаров. – В старину мужики говаривали: журавель не каша, пища не наша. Раньше журавлятину цари жрали, князя да бояре всякие на своих пирах. Теперь и забыли, что птица эта съедобная. А я вот помню, да... жалко. И никому не говорю, а то найдется много стрелцов. А птица больно красивая, и землю, и небо украшает. Пушай живет.

Говоря это, Панкрат все ежился и ежился.

– Знобит? – спросил Хохлов, думая о поразивших его чем-то рассуждениях Назарова о журавлях.

– Ништо... Это для нас, чахоточников, весной обыкновенно. Токмо бы весну пересилить, а там уже, считай, до следующей землю топтать будем.

Панкрат Назаров закрыл глаза и сидел так минут пять. На рытвинах коробок подбрасывало, голова председателя в лохматой шапке из собачьей шкуры болталась на тонкой шее, как тяжелая подсолнечная шляпа на жиденьком будыле при сильном ветре. Иван Иванович отчего-то вспомнил, как безропотно согласился Панкрат на добавочные шестьсот центнеров

хлеба к годовому плану, не выказав абсолютно никаких эмоций, и в груди у Хохлова что-то размягчилось, сердце тоскливо заболело. Ему захотелось вдруг сказать этому старому и больному человеку какие-то теплые и благодарные слова, но таких слов у него не было. И, кроме того, он чувствовал, что любые слова будут плоскими, неуклюжими и что они только вызовут у Назарова холодноватую усмешку. Поэтому он лишь отвернулся и кашлянул.

– Что? – сразу же открыл глаза Панкрат. – Свороток уж?

– Далеко еще.

– Что-то в дрему часто покланивать меня, замшелое бревно, стало. Ночью сон не берет, а днем...

Несколько минут еще проехали молчком.

– Каково, Иван Иванович, в районной должности-то ходить? – спросил вдруг Назаров. – Попривык?

– Нет, Панкрат Григорьевич, тяжело... и не умею, – откровенно сказал Хохлов. – Просился было я недавно у Кружилина на завод обратно...

И, умолкнув, шумно вздохнул.

– Ну?

– Никогда не видел его таким. Как на мальчишку, накричал.

– А ты его тоже пойми, – промолвил Панкрат не сразу. – Какое ярмо у него на шее. С кем-то везти надо.

– Я понимаю... пытаюсь, лучше сказать. – Хохлов вздохнул. – Я, Панкрат Григорьевич, человек не слабый, не пессимист, знаю, чем солнце пахнет... Но я... как бы тебе выразить? До войны, бывало, всякий цветок, мотылек, красивая бабочка там в телячий восторг меня приводили. И вот война... Такое сразу свалилось! Дочка погибла, жена до сих пор... Так ничего, здорова. А ночью иногда прислушаюсь – плачет. Да... И кругом горе людское, такие трудности! Вот завод этот... Вот люди в селе, вижу, как бьются. Ну, кажется, нет выхода, все бесполезно, ничего не сумеем мы сделать... А он, завод, встал и задымил! Чтоб он дымил, дышал – Антон Савельев на гибель, на смерть... сознательно. И ты вот – даешь ведь эти добавочные шестьсот центнеров... И я пытаюсь понять что-то, чего раньше, чувствую, не понимал. Отчего оно все это? Чем объясняется?

В синем апрельском небе не было больше журавлей. Куда ни погляди, ничего в нем не было, кроме угрюмых и темных сейчас утесов Звенигоры, которые с одного края подпирали это бескрайнее небо, врезаясь в него глубоко, в самую синь, да плавающих выше каменных громад редких облаков.

Председатель поглядел из-под насупленных проволочных бровей на темные утесы, на светлые облака над ними. И на длинную речь Хохлова ничего не ответил. Лишь минут через десять проговорил, мотнув головой в сторону:

– Там вон рыбачки мои должны быть. Я наказывал, чтоб не прозевали, как Громотуха вскрыется. Может, глянem подъедем? Ежели тебе не к спеху в Шантару-то...

– Какие рыбачки? – спросил Хохлов, немного удивленный.

– Анна Савельева с бабенками.

– М-м... Любопытно...

Назаров взял у Хохлова вожжи, и коробок покати́л к реке по каменистому некрутому косогорчику, с хрустом подминая и разрывая колесами прошлогодние, черные и крепкие, как проволока, пучки ковыльных струн. Высохшие стебли еще упрямо торчали, не сломленные осенними ветрами, не примятые к земле снегом, а ковыльные гнезда уже вновь приметно зеленели, из-под старых, грязных и седых стеблей выметывались тоненькие, бледно-зеленые ниточки, тянулись вверх, к свету, к солнцу. Удивительная она, эта степная трава ковыль, думал Иван Иванович Хохлов. Зачем она на земле? Не ест ее скот, не клюют ее семян птицы, не использует для своих нужд человек. Лишь поется о ней в грустных песнях о расставаниях и

невозвратных утратах. Растет она обычно на бросовых, сухих и каменистых, как этот косогорчик, землях, и грустно бывает смотреть на созревшее ковыльное поле: пустынное оно и унылое, не звенят над ним человеческие голоса, не поют птицы, тоскливо мотаются под ветром седые метелки, из конца в конец катятся бесшумные белесые и безжизненные какие-то волны. Ковыльное поле всегда рождало у Ивана Ивановича невеселые мысли о бренности и ограниченности человеческого существования, и он, хотя и понимал, как всякий, что силы и время человека на земле не беспредельны, примириться с этим не хотел и думать об этом не желал. Ковыльное же поле заставляло думать о таких вещах, и за это он не любил древнюю траву.

– Анна Савельева... в колхоз, значит, вступила? – спросил он председателя, отвлекаясь от своих дум.

– Получилось так, – кивнул Назаров. – И хорошо.

Хохлов припомнил, что муж Анны, Федор Савельев, ушел на фронт еще в прошлом году. А нынешней зимой, кажется – в феврале, она пришла в райком и попросила Кружилина посодействовать, чтобы ее отпустили с завода, поскольку отдел кадров, директор завода Нечаев, куда она обращалась, в этом ей отказали. Хохлов как раз находился в кабинете секретаря райкома и был свидетелем их разговора.

– Ну, отпустим... – проговорил Кружилин. – А как жить будешь? На что?

– В Михайловку свою поеду. В колхоз.

– А дети? Им учиться надо.

– Там есть семилетка. Андрейку с собой возьму. А Димка уже большой, он в Шантаре, когда учеба, жить будет. Дом свой, что ему?

– Он в восьмой, кажется, ходит? – спросил Кружилин.

– Ага...

Анна стояла тогда у стола в его кабинете, сдвинув длинные свои брови и глядя куда-то вниз, в угол. На ней были рабочая мужская тужурка, разбитые валенки, старая суконная юбка, в руках она держала большие бараньи рукавицы. Но все эти грубые вещи странным образом подчеркивали ее женственность и свежесть. Сколько ей лет, Хохлов не знал, по виду дал бы тридцать два – тридцать пять, но морщины вокруг глаз и щедрая проседь в выбившейся из-под платка пряди волос говорили, что ей намного больше.

– В восьмом Димка, – повторила Анна с каким-то облегченным вздохом.

– А Федор так и не пишет? – опять спросил Кружилин.

– Нет, – ответила Анна, почему-то подняла большие серые глаза на Хохлова и будто ему одному пояснила: – Как уехал на фронт, ни одного письма не написал.

В глазах ее не было той застывшей безнадежности и тупого страха, какой стоит у жен, чьи мужья долго не подают о себе вестей с войны. В глазах этих была просто задумчивая грусть. И еще Иван Иванович уловил в ее взгляде любопытство, она смотрела на него так, будто видела если не впервые, то после долгого перерыва.

– Ну а Наташа, невестка твоя? – проговорил Кружилин. – У нее грудной ребенок.

– Она у бабки Акулины живет. Я звала Наталью со мной жить, она отказалась. У Акулины, говорит, ребенку лучше. Да и правда, я ж все на работе...

Анна опять опустила глаза, стала смотреть в угол.

– А за Димкой Марья Фирсовна приглядывать будет. Эвакуированная, что у нас живет. Она славная... Вы позвоните Нечаеву на завод. Ну... надо мне, не могу я больше тут.

– Хорошо, иди, Анна, я позвоню, – сказал тогда Кружилин.

...Река открылась неожиданно – огромная, бесконечная, черная, в белом ледяном крошеве по бокам. Ледяные глыбы в беспорядке громоздились на берегу, некоторые стояли торчком, иные, пробороздив глубоко гальку и мерзлую землю, истаявали сейчас далеко на берегу, стекали светлыми ручейками обратно в реку. Глядя на огромные ледяные обломки, Хохлов попытался представить себе ту чудовищную силу, которая взломала вдруг метровой толщины

ледяной панцирь, раскрошила его на тысячи и тысячи кусков, отчего на реке стало сразу тесно, поволокла обломки эти вниз, начала выталкивать на берег...

– Удивительно... Какая силища! Невообразимо! А вы знаете, Панкрат Григорьевич, я никогда до этого не видел ледохода...

– Напрасно, – осуждающе почему-то сказал Назаров.

– Там, где я жил, большой реки не было... Где ж ваши рыбаки?

– Вот они.

Метрах в ста от того места, куда подъехали Хохлов с Назаровым, чернело среди ледяных глыб несколько фигур. И хотя они все были в брюках, а некоторые в шапках, в них без труда различались женщины. Две из них взмахивали длинными шестами, на конце которых были укреплены треугольные сетчатые черпаки, погружали эти черпаки в воду, шарили ими где-то под льдинами, вытаскивали и высыпали из черпаков в ведро мелкую рыбешку. Когда высыпали, рыба мелочь ослепительно серебрилась под вечерними лучами солнца.

– Поразительно! – пробормотал Хохлов. – Так просто?

– А что хитрого? Испокон веков у нас тут рыбу саком черпают. Почистим вот, засолим... Из соленой рыбы суп посевищикам варить будем. Здравствуйте, бабы!

– Здравствуйте, – сказала Анна Савельева за всех, дуя на красные от ледяной воды руки, поправила сбившийся на затылок платок и снова закинула сак между льдин.

На берегу плоскими мокрыми лепешками валялось несколько мешков, наполненных рыбой.

Анна, тяжело перегнувшись, выволокла сак из-под льдины, подержала на весу, пока стечет вода, и высыпала в широкое ведро несколько десятков чебаков и окунишек.

– Поразительно, – опять произнес Хохлов. – Будто из полного корыта...

– Вся рыбешка сейчас у берегов. Надохлась за зиму без воздуха. А вот счас вместе с водой, которая с тающих льдин льется, голымый кислород в речку течет. Рыбешка его и ловит. Тоже живая тварь, дышать хочет. Тут-то ее – только черпай. Растают льдины, и рыбалка такая кончится. Вглубь рыба уйдет.

– Ну да, ну да... – промолвил Хохлов.

Сбоку застучали колеса, к берегу подъехали председательские дрожки. На них среди всяких узлов и мешков сидела та самая повариха Тоня, о которой недавно говорил Назаров. Выбрав наиболее пологий спуск, она съехала прямо на прибрежную гальку, натянула вожжи и крикнула:

– Грузите, что ли, улов ваш!

– Давайте, бабы, – сказал Назаров. – И кончайте, хватит. Промокли все.

Женщины беспрекословно и молча принялись складывать на дрожки мокрые, тяжелые мешки, потом повариха тронула подводу, широко, по-мужски, шагая сбоку. Рыбачки двинулись следом.

Назаров и Хохлов остались на берегу одни. Председатель колхоза долго стоял спиной к берегу, смотрел на черный неподвижный лоскут воды между двух огромных зеленоватых льдин, торчащих из реки. Бока льдин отражались в воде. Еще отражались там, плавая далеко внизу, на невообразимой глубине, два маленьких облачка и кусочек светло-синего, совсем уж бездонного неба.

Где-то звенела тоненько и тоскливо водяная струйка, стекая в реку.

– А ночью, когда там звезды, аж мороз по коже... – проговорил вдруг тихо Назаров. – Умом-то знаешь, что по колено тут, а кажется... Жутко, а глядеть хочется. Думаешь: батюшки, сколько у бога великого да вечного! И мы вот, людишки маленькие, на земле зачем-то?.. Зачем? А?

Назаров повернулся к Ивану Ивановичу Хохлову. Взгляд старого председателя был до того суров и холоден, что Хохлов растерялся.



– Вопрос... – промолвил он с невеселой усмешкой.

– Да, вопрос. Вот и еще у меня один есть... – И вдруг Назаров усмехнулся. – Ладно, после я задам его тебе. А сейчас поедем.

Он повернулся и пошел к подводе, хрустя галькой. Шел он, сильно ссутулившись, горбом выгнув спину, обтянутую брезентовым дождевиком, медленно и широко махая длинными и тяжелыми, полусогнутыми в локтях руками.

Когда сели в коробок, Назаров молча взял вожжи, тронул лошадь. Проехали тем же косогорчиком с торчащими пучками прошлогоднего ковыля, выбрались на Шантарский тракт. Вскоре так же молча, ничего не объясняя, Назаров повернул с тракта на проселок, ведущий во вторую бригаду. Лишь когда подъезжали к бригаде, сказал:

– С обеда не евши ты... Накормим ухой из свежей рыбки и отправим восвояси.

\* \* \*

Вторая бригада колхоза «Красный колос» была Хохлову знакома, прошлой осенью он был здесь несколько раз. За зиму ничего тут не изменилось – те же два жилых дома, один для полеводов, другой для животноводов, тот же почерневший от времени амбар, хозяйственный сарай, стряпка, худенький коровник, наскоро построенный осенью из жердей и обмазанный глиной, пригон для скота и большая бревенчатая рига. Только рига осенью была под толстой соломенной крышей, а сейчас сверкала под заходящим солнцем голыми ребрами стропил.

– Зимой крышу-то скоту скормили, – сказал председатель колхоза, хотя Иван Иванович и сам об этом знал. – Осенью заново покроем. Ну, сейчас я насчет ужина... А ты покуль в дом ступай, отдохни. Али с народом побеседуй.

В бригаде было не очень многолюдно. Возле раскрытых дверей амбара стояла бричка, груженная туго набитыми мешками. Две женщины снимали мешки с брички и ставили на весы. Совсем молоденькая девушка, сильно конопатая, в пестром, сбившемся на затылок легком платочке, в мужском пиджаке, старательно взвешивала мешки, слюнявила огрызок химического карандаша и большими цифрами помечала вес в растрепанной тетрадке.

– Семена? – спросил Хохлов, подойдя к амбару и поздоровавшись.

– Ну, – утвердительно кивнула одна из женщин, вытирая ладонью пот с лица. – Яровые. – И поволокла мешок в амбар.

– С центральной усадьбы возим, – пояснила конопатая девушка.

– Простудитесь. Что ж вы так легко одеты? – задал Хохлов ненужный вопрос.

– А баба весной всю одежду долой, – немедленно донеслось с брички. – Чтоб всякий мужик сразу глаз положил.

Хохлов, как всегда в таких случаях, смутился. Вышедшая из амбара женщина, помоложе и постройней той, что стояла у брички, оглядела Ивана Ивановича с ног до головы и безжалостно пояснила: – Да мы это не про тебя. Какой ты мужик? Ты – начальник, тебе нельзя. Мы вон про деда.

Женщина кивнула в сторону хозяйственного сарая, где щупленький старичок починял тележное колесо. Хохлов оглянулся и сразу же узнал в нем бывшего райкомовского конюха Евсея Галаншина.

– И как он, дед... кладет?

– А как же! Он дед-то дед, а цены ему нет. Довольны мы... Жалко, что единственный он у нас мужик на всю бригаду. Был бы еще один, мы бы и вовсе горюшка не знали.

Конопатая девушка тоненько прыснула и зажала кулачком рот. Иван Иванович потоптался у весов, усмехнулся неловко и отошел к старику.

Евсей Галаншин еще прошлой осенью попросил расчет у Кружилина.

– Кости ноют, Поликарп, в земляшку родимую, кажись, запросились, – сказал он, утонув в мягком кожаном кресле перед секретарским столом почти с головой. – Покояюшил я у тебя, отпусти... Где родился, там и помереть хочу. Своим паром кости свои хочу туда донести.

– Нехорошие мысли у тебя, Евсей Фомич, – качнул совсем поседевшей головой секретарь райкома. – Зачем раньше времени? Побегашь еще по земле.

– Походим, что ж, сколько бог даст, – сразу согласился Евсей. – Но конюшить уж тяжело. А там, у Панкрата, где посторожу, где поддержу... А ему все в помощь.

Переехав в колхоз, он поселился во второй бригаде, облюбовав себе каморку в одном из домов, сам сложил там печь с большой лежанкой, помогал животноводам – нынешней зимой держали тут около сотни коров, – следил, чтобы бабенки не оставили где по неосторожности или усталости огня.

– Ну, бабы у вас! – сказал Хохлов Галаншину, подходя. – Прямо краску теперь с лица не отмою. Здравствуйте, Евсей Фомич.

– Здорово живешь, Иван Иванович... Бабенки что! Им хоть словами нагуляться... – Дед Евсей отложил молоток, которым натягивал железную шину на колесо. – Ну что там у вас, в райкоме-исполкоме?

– Что ж... К севу вот готовимся.

– Поликарп Матвеевич что там? Тоже, как ты, с тела сошел?

– Разве я похудел?

– Попра-авился!

– Да не знаю... Мы каждый день видимся. Оно потому и не замечаем, может.

– Да ты садись вот на чурбачок. В ногах правды нету.

Хохлов сел, окинул взглядом бригадные обветшалые строения. Женщины разгрузили бричку и теперь закрывали широкие двери амбара. Возле стряпки несколько женщин чистили и потрошили рыбу, мелькала повариха, и один раз появился сам Панкрат Назаров, что-то сказал Анне Савельевой и скрылся.

– Про сына-то Поликарпа, Василия, известно что, нет?

– Вроде ничего не известно. Погиб, наверное.

– Ну да, ну да... Может, и пророс уже где ковыльком-горюном.

Иван Иванович вздрогнул.

– Как вы сказали?

– Может, говорю, где уже новая сединка по нем, по Василию, на земле пробилась, – грустно вымолвил старик. – Горе да утрата голову человеку забеливают. И на лице земли то же происходит. Все мы у нее сыны да дочки. Всех жалко ей.

– Удивительно...

– Чего?

– Да вот то, что говорите вы, Евсей Фомич.

– А-а... Это так, – кивнул старик. – Это отец мой...

Дед Евсей на полуслове умолк, стал глядеть куда-то перед собой – не на землю и не на небо, а так, в пространство, и в глазах его, старых и изношенных, была какая-то дума, грустная и вековая. Иван Иванович вдруг почувствовал, что нельзя, не надо прерывать эту его думу ни словом, ни движением, потому что будет это кощунственно. И сидел не шевелясь...

Наконец взгляд старика медленно притух, он опустил глаза на недоделанное колесо, потрогал его усохшей давно уже рукой и жиденько вздохнул.

– Да вишь какое дело... Отец мой, помню, все старинную песню певал. А сам ее от отца своего, грит, слыхивал, то есть, стало быть, от моего деда. Каков он, дед мой, был, не знаю, не видывал его. С самим генералом Суворовым, отец мой рассказывал, воевал. На турка ходил с ним, на поляка, на француза... Сто двух годов помер. Ну, да все мы долгожители. Отец тоже чуть не под сто годов скончался. И я вот... не обидел бог годками-то. Песни той я по малолет-

ству да по дурости не запомнил. А вот как сейчас слышится – пелось в ней об тяжком вражеском иге на русской земле. Конями ее топтали, огнем жгли. Народ секли да резали, в слезах он захлебывался. И поднялся, значит, он, народ, на битву небывалую, да... Вышли воины на бескрайнее степное поле, все разноцветьем покрытое. И начали с басурманами биться. И полегли, почитай, все, но врагов побили, а остальных вспять повернули, да погнали, да погнали... Ну, после вернулись на потоптанное, разрытое копытами поле. Врагов мертвых пособирали, в речку покидали, что во вражий стан текла. Получайте, мол... А своих похоронили. Могильных холмиков не стали делать, разровняли все поле, чтоб, значит, опять ромашки на нем выросли, другие цветы всякие, чтоб испокон веку было оно все так же солнечным брызгом обсыпано. Но чудная трава какая-то стала прорастать на этом поле – жесткая, стеблистая. А под осень каждая травинка выбросила белые волосы. Поседело, значит, все поле от горяшка... Вот так. И с тех пор повелось: погибнет человек за землю – в нее же и ляжет... И вырастет где-то еще одна седая травинка, стоит да плачет под ветром. Так в песне той поется...

Все это старик говорил негромко и ровно, а в груди Ивана Ивановича что-то возникало живое и щемящее, поднималось к горлу, закладывало его.

– Плакал мой отец, когда пел эту песню. Мне бы, дураку, слова-то все заучить. Сейчас бы и сообщил их тебе и другим. А я... Так вот и теряем мы свои песни.

Солнце уже село, скрылось с глаз за пологим увалом и прощальным веером било из-за него по всему небу. Солнечные лучи еще захватывали голые верхушки деревьев за амбаром, окрашивали их в красно-медный цвет почему-то все сильнее и сильнее. Чудилось, что тонкие верхушки берез и осин раскаляются, как перепутанные мотки проволоки, сунутые в кузнечный горн, и сейчас вспыхнут злым и торопливым пламенем.

Глухо застучали по земле колеса брички – женщины и конопатая девчонка куда-то поехали, – может быть, за новой партией семян. Старый Евсей поглядел им вслед и, отрешась от своих дум, вздохнул:

– Сколь работы им, сердешным, после войны будет...

– Кому?

– Бабам-то. Жадно рожать после войны зачнут.

Иван Иванович медленно повернул к старику голову. Еще не очнувшись как-то от рассказа про необыкновенную песню, он поразился даже не этим необычным словам – «жадно рожать», – а тому обстоятельству, что для женщин это будет работа, много работы!

– Что так смотришь?

– Это ты... правильно, пожалуй.

– При чем тут правота-неправота? От бога так, али, по-теперешнему, от природы... Седых ковылей на матушке-земле все прибавляется, но и народ тоже убытку не терпит. И все так в природе под солнцем. Вот в пример возьми хотя бы, ну, сказать, лес, поле... Рана на человеке как ни болит, а затягивается, рубцется. И на лесном пожарище тоже. Через первую же зиму всякие елки-метелки проклевываются. И тянутся к солнышку, тянутся, крепнут помаленьку... Али проплешину от костра на лугу возьми. Обуглит огонь землю вглубь на полсажени, бывает, сгорит все там, всякие семена и травяные корни. И год чернеет эта проплешина, и два... А потом начинает затягивать с краев травкой... И глядишь – затянулась, кучерявится зелень-то как ни в чем не бывало. Так оно и в народе. И бабам тут дело-ов!

Из кухни вышла повариха Тоня с тряпкой в руках, вытерла этой тряпкой лицо и направилась прямо к хозяйственному сараю. Подойдя, она остановилась шагах в пяти, крупная, налитая ранней женской спелостью, с красным лицом не то от жара плиты, не то от смущения.

– Я сготовила. Пойдемте ужинать, – проговорила она и сразу же отвернулась.

– Спасибо, Тоня. Сейчас.

Она стояла боком, прижимая тряпку к тяжелым буграм груди, точно стеснялась их и хотела прикрыть. Хохлов видел эту располневшую девушку не раз, но все как-то издала. Чер-

ные глаза ее, как он считал, ничего никогда не выражали, кроме тупого и привычного равнодушия ко всему миру. А сейчас он разглядел вдруг совсем иное. Во-первых, глаза у нее были вовсе не черные, а густо-синие, как набрякшее первой грозовой силой весеннее небо. Опушенные хотя не густыми, но длинными ресницами, они таили в себе, оказывается, что-то робкое и восторженно-любопытное одновременно. И еще что-то ожидающее, чего нет сейчас, но что скоро будет обязательно... Во-вторых, в ее полноте не было ничего безобразного или неприятного. Просто крупная от рождения, широкая, как говорят, в кости. Хохлов видел ее всегда в какой-нибудь старенькой телогрейке или широком застиранном платье. А сейчас на ней был свежий синий, под цвет глаз, рабочий халат, схваченный в талии пояском. И сквозь халат обрисовывались ноги – длинные, крепкие и стройные... И, в-третьих, она была просто красива. Полные, румяные щеки, губы яркие, над верхней губой золотистый пушок. И голову с гладко зачесанными и собранными на затылке в большой узел волосами она держала как-то по-особенному – не гордо, но и не униженно. И немножко досадно даже стало Хохлову: зачем она прижимает неловко тряпку к груди, чего стесняется? Все в ее фигуре к месту...

– Сейчас я, – сказал он еще раз.

Повариха повернулась и пошла.

Иван Иванович и старик провожали ее глазами до стряпки. Она это, видимо, чувствовала, шла, чуть опустив голову, все торопливее и торопливее, а последние метры почти пробежала.

Когда она скрылась, Хохлов опустил в задумчивости голову, а дед Евсей сказал:

– Вот и эта матерь добрая растет.

Хохлов думал примерно об этом же, но совпадению своих мыслей со словами старика не удивился.

– Хорошая девушка.

– Ага, – кивнул старик. – Чистая она, Тонька. Пошли ей бог хорошего мужика.

Через несколько минут Иван Иванович, раздевшись в маленькой опрятной комнатке, мыл руки над тазиком, а Савельева Анна, подвязанная пестреньким платком, сливала ему.

Иван Иванович вкратце знал ее родословную и ее историю со слов Поликарпа Кружилина, всегда с любопытством поглядывал на нее.

– Как здесь приживаетесь-то? – спросил он.

– А чего мне приживаться? – чуть усмехнулась Анна. – Я здешняя. Да ведь, поди, и сами знаете.

– Знаю. И что партизанила тут в гражданскую, знаю...

– Только это?

Она подняла на него большие строгие глаза. Губы ее, немного выцветшие, но еще свежие, были плотно сжаты. Иван Иванович был уверен, что в уголках этих губ сейчас проступит горьковатая усмешка. И, чтобы она не проступила, он хотел еще что-то спросить, но не успел – открылась дверь, вошел Назаров, неуклюже топая и следя грязными, в комьях прилипшей земли, сапогами по чисто вымытому полу, стянул дождевик, фуражку, сел на скамейку и стал разуваться. Оставшись в носках, вымыл руки, заскорузлыми ладонями пригладил на голове торчащие седые космы и сел к столу.

– Ну вот... Пока то да сё, на пашню глянул. По колено, считай, грузнет еще нога. Да на вешнего Егорья, пожалуй, коли такая погода стоять будет, начнем сеять, помолясь...

– Когда это? – спросил Хохлов.

– Егорий-то? Шестого мая будет. Хорошо ныне, спасибо вам, не подгоняете. Полипов, бывший секретарь райкома, а потом на твоём месте работал, наверно, уж баню нам бы не раз устроил. Саботажники, мол, и преступные разгильдяи, сев умышленно задерживают! А земля не скоро еще подойдет... Ну, где там Антонина со своей ухой?

Анна вышла. Панкрат, постукивая ложкой о столешницу, глядел в окно на сгущающийся вечер, о чем-то думал.

– А что, ежели возьму да и поставлю Анну вот сюда бригадиром? – неожиданно проговорил Назаров. – А? Будете в районе возражать?

– Да нет, чего же. Тебе ж виднее.

– Хорошо! – воскликнул Назаров, с шумом отворачиваясь от окна. И пояснил непонятно: – Хорошо это, говорю, когда начальство понимает, почему рыба в воде плавает, а птица по небу летает...

Тьма за окном все сгущалась. Назаров встал и зажег висящую над столом лампу под металлическим эмалированным абажуром.

Скрипнула дверь, появилась Антонина, неся большую сковороду и закопченный котелок. Она поставила все это на стол, сняла крышку с котелка, налила в тарелки. Из разошедшегося стенного шкафчика достала два ломтя черного, клейкого на вид хлеба.

– Ну, ужинайте, – сказала она и вышла.

Уха была пахучей, запахом ее наполнилась вся комната.

– Вкусно! – проговорил Хохлов. – Будто сроду такой и не ел.

– Вкусна не вкусна, да голод – он не тетка. Он и надоумил нынче нас хоть немножко взять моментом рыбешки. Оно не мед в ледяной воде мокнуть, а потом каждую малявку чистить. Но какое-никакое, а подспорье. Вот так одно, да другое чего придумаем, да третье – и люди наши на севе будут... не скажу, что сытые, но и не впроголодь. И маленько лишних гектаров напашем, и эти прибавочные шестьсот центнеров вырастим, сожнем, обмолотим и сдадим... А теперь вот и хочу задать тот вопрос тебе, что на речке хотел. Почему это каждому доказывать надо, что ты честный человек? Ну?

Улыбка, бродившая по лицу Хохлова, сразу исчезла. Он почувствовал вину и неловкость за свои недавние мысли относительно Назарова.

– Это что ж, тот старик, Петрован Головлев, вам доложил? Когда ж он успел?

– Там, в Михайловке, подошел к амбарам, да и сказал. Покуда ты ко мне приближался, мы уже побеседовали.

Хохлов глядел на доски давно не крашенного, облупившегося, но чисто вымытого пола, чувствуя на себе по-стариковски обиженный взгляд Назарова. И все-таки нашел в себе силы поднять глаза на председателя.

– Было такое у меня в мыслях, Панкрат Григорьевич... нехорошее, – сказал Хохлов негромко. – Ты прости меня. Понял я все.

Впервые он назвал его на «ты». От внимания Панкрата это не ускользнуло, желтоватые ресницы его дрогнули.

– Ладно, Иванович. Чего там, ничего, – так же негромко промолвил он в ответ, – я знаю, разговоры какие плетутся про меня. Но жулик я али еще каков человек, это уж вы да господь пусть рассудит.

...Уезжал в Шантару Хохлов уже какой-то не такой, каким приехал в Михайловку, и ясно чувствовал это. «Понял я все», – сказал он Назарову. А что? Объяснить это самому себе он не мог. Но понимал: прожитый день сразу сделал его если не умнее, то намного старше.

Лошадь шла шагом, время от времени пофыркивая в темноту. В ночном небе чернела громада Звенигоры, над ее зубчатой хребтиной, над рекой, над холодными и пустынными полями, в которых кормятся где-то сейчас журавли, стояло, текло и переливалось нескончаемое море звезд.

Ехал Иван Иванович под этим ночным звездным небом, и непривычные мысли, незнакомые ранее чувства одолевали его. Где-то горит край земли, думал он, и сгорают в том безжалостном огне люди. А здесь все тихо и мирно, лишь невероятно тяжело. Но невозможно одному человеку во всем размере представить все то горе, всю трагедию, которую переживает сейчас земля. Как невозможно представить все величие и необъятность этой жизни, этого неба и полей под ним. Это можно лишь немного почувствовать, как вот он сейчас чувствует. Прой-

дет сто лет, пройдет двести... Давным-давно не будет на земле ни Панкрата Назарова, который спит сейчас, разбросав на постели длинные свои руки с жесткими ладонями, ни этой девушки Тони, налившейся крепким материнским соком, ни Анны Савельевой, продрогшей сегодня в ледяной воде, ни его, Ивана Ивановича Хохлова. Но по-прежнему будет полыхать над землей звездный океан. И сколько бы ни прибавилось на земле белых седин-ковылей, народ убытку своего не потерпит. И кто-то другой будет вот так ехать по молчаливой ночной дороге под звездным куполом, будут так же спать люди, раскидав по постели натруженные за день руки. Каждый вновь проходящий под это вечное небо будет заново пытаться понять: какова она, земля, в чем ее красота и сила?! Но неужели и потом, позже, понять это будет иногда так же не просто? Неужели и тогда будут войны? Будут зарастать все новые и новые поля ковылем? Неужели вот так же кто-то у кого-нибудь спросит вдруг: «Почему это каждому доказывать надо, что ты честный человек?»

\* \* \*

Пятнадцатого апреля 1943 года, дождливым и тусклым весенним утром, задолго до солнца, на запасной путь маленькой станции медленно вполз состав из двух десятков серо-зеленых, совершенно глухих, без окон, вагонов и, заскрипев тормозами, остановился. Тотчас вдоль состава по клейкой грязи, в свете занимающегося дня такой же серо-зеленой, как вагоны, забегали черные фигуры в касках и коротких мундирчиках, раздались хриплые, лающие голоса. Затем послышался вой моторов, на пустырь перед железнодорожной линией, разбрызгивая колесами тяжелые комья грязи, въехало три грузовика. Машины остановились метрах в двадцати от состава.

Еще через минуту загревели железные засовы дверей, заскрипели пронзительно кованые петли. К каждому вагону приставили сходни – узкие мокрые плахи с набитыми поперек невысокими реечками, по ним в каждый вагон гуськом вбежали по три-четыре охранника с резиновыми палками и принялись с криком и руганью на своем немецком языке выталкивать наружу, под мелкий холодный дождик, людей в полосатых одеждах. Впрочем, на людей они походили отдаленно – изможденные голодом, многонедельной вонью человеческих испражнений, худые, как скелеты, заросшие грязным волосом... Они прыгали из вагонов в грязь, точнее, вываливались – никто почти из них не мог устоять на ногах после прыжка – не было для этого сил, и к тому же от чистого и влажного воздуха, хлынувшего в легкие, каждый мгновенно пьянел. Некоторые пытались сойти по узким сходням, но деревянные башмаки скользили по мокрым доскам, люди бревнами падали, ломали руки, расшибали о края вагонов и об землю головы. По обеим сторонам вагонных дверей стояли эсэсовцы, плетью и резиновыми палками хлестали упавших, яростно орали:

– Aufstehen! In Kolonne antreten! Los, ihr russische Schweine!<sup>1</sup>

В каждом пересыльном пункте, в каждом лагере набор слов эсэсовских охранников был почти одинаков, и люди давно понимали их. И встреча прибывающих заключенных повсюду была примерно одна и та же.

Василий Кружилин и Максим Назаров, стараясь не греметь цепью, которой они были скованы, по мокрой плахе скатились из вагона, ни тот, ни другой ударов не получил. Правда, Назаров уже на земле пошатнулся, но Василий схватил его за локоть, дернул к себе.

С трудом отрывая ноги от клейкой земли, они побрели в дальний конец пустыря, где заключенные выстраивались в колонну по шесть человек в ряд.

– Спасибо, – проговорил Назаров, тупо глядя в чей-то грязный волосатый затылок.

<sup>1</sup> Встать! В колонну! Быстро, русские свиньи!

– Куда же это привезли нас? – спросил вполголоса Валентин Васильевич Губарев, бывший преподаватель института, кандидат филологических наук. Кружилин и Назаров познакомились с ним еще в Ламсдорфе, где жили в одном блоке. Спать им пришлось там на соседних нарах, и Губарев перед сном, если после тяжелого рабочего дня оставались еще силы, читал на память стихи. Он знал их множество, особенно любил Некрасова, а из иностранных – Гёте. «Вот послушайте...» – говорил он обычно неожиданно, когда в бараке не было ни старосты, ни охранников, и, лежа с закрытыми глазами, начинал:

В Европе удобно, но родины ласки  
Ни с чем не сравнимы. Вернувшись домой,  
В телегу спешу пересестъ из коляски —  
И марш на охоту. Денек недурной,  
Под солнцем осенним родная картина  
Отвыкшему глазу нова...  
О, матушка Русь!..

Стихи он выбирал обычно о Родине, о России, от которой они были так далеко. Всякий раз Василию хотелось крикнуть: «Перестань, не бреди душу!» Но одновременно и хотелось, чтобы он читал и читал без конца такие стихи.

Сейчас Губарев, длинный, костлявый, с посиневшим от холода лицом, стоял рядом, уныло глядел под ноги, на раскисшую землю. Сеялся беспрерывно мелкий ледяной дождь, мочил и без того продрогших людей. Люди кашляли, и Василий Кружилин думал, что сегодняшней день для многих последний, завтра трупы умерших загрузят в страшные и прожорливые печи крематория. А может быть, для всех этот дождливый и промозглый вечер является последним. Куда их привезли, спросил Губарев. То-то и вопрос... Если в Дахау или Освенцим, то это конец. Оттуда не возвращаются. Зловещая слава о них гуляла по всем концлагерям. О Дахау и Освенциме было известно и в Галле, где загнали их, русских, в эти вот серо-зеленые коробки и повезли куда-то почти без пищи, выдав за весь путь пару ведер вонючей баланды на вагон. И вот, кажется, привезли. Но куда, в самом деле?

Люди из вагонов выгрузились, теперь оттуда выбрасывали трупы. Только в том вагоне, где ехали Кружилин с Назаровым, умерло за дорогу шесть человек. Здоровенные охранники хватали умерших за руки, за ноги, подтаскивали к дверям и швыряли, как мешки, в грязь. Здесь несколько заключенных поднимали трупы, тащили к грузовикам, складывали в кузова.

Скоро все три машины были загружены доверху и, натужно ревя моторами, тронулись, уехали, разворотив колесами раскисшую землю. Глубокие колеи от колес стали быстро заполняться водой.

А люди все стояли и стояли на холоде, под непрекращающимся дождем. Вдоль выстроившейся лицом к вагонам колонны бежали эсэсовцы, без конца пересчитывали заключенных, что-то орали, ругались. Черные автоматчики, держа наготове оружие, безмолвно, как истуканы, торчали чуть поодаль, растянувшись цепочкой. Малейшее неповиновение, малейшее волнение в колонне – и по людям хлестанут свинцовые смертельные плети. Кружилин это знал, знали и все остальные. Так было однажды зимой в Ченстохове. Колонну привели с работы и почему-то до полночи держали перед воротами лагеря. На том краю колонны, где стояли Кружилин с Назаровым, упал один человек, потом другой... Помогать упавшим подняться было запрещено. К упавшему подходил эсэсовец, хлестал плетью или дубинкой. Если заключенный не имел сил подняться, эсэсовец вытаскивал пистолет и стрелял... Но когда упало сразу несколько человек, по колонне прошло волнение, начался был ропот. И тотчас, без всякого предупреждения, хлестанули автоматные очереди. Люди, и мертвые уже, и живые, мгновенно попадали в снег...

Сейчас колонна, вытянувшаяся из конца в конец пустыря, стояла безмолвно. Светало медленно, на столбах, вкопанных по краю пустыря, горели прожекторы. В их лучах серебрилась мелкая водяная пыль.

– Боже мой! Боже мой!.. – вздохнул вдруг Назаров, угрюмый, ушедший весь в себя, о чем-то все думающий, думающий в последние недели. За эти последние две или три недели Василий не слышал его голоса, кроме недавнего «спасибо» да вот этого вздоха.

– Ничего, товарищ капитан, – тихонько откликнулся Василий. – Не до света же они нас тут держать будут. Приведут куда-нибудь – отдохнем. А Валя нам стихи почитает. А, Валь?

– Тихо! – вместо ответа проговорил Губарев.

Вдоль колонны медленно шел офицер в длинном, блестящем от дождя плаще, чавкая по грязи сапогами. Его сопровождал невысокий человек в тужурке, кепке, с белой повязкой на рукаве.

Офицер остановился почти напротив Кружилина и, как показалось Василию, стал смотреть прямо на них с Назаровым, соединенных цепью в концлагере Галле перед посадкой в вагоны. Но ни страха, ни какого-то даже малейшего опасения это у Василия не вызывало. Во рту у него накопилась горячая слюна. Василий испытывал острое желание сплюнуть. Но плевать в строю как раз и было нельзя, за это можно немедленно заплатить жизнью. Этот высокий офицер с круглыми, ничего не выражающими глазами может не спеша подойти по грязи в своих начищенных сапогах, вынуть пистолет и застрелить его. Сделает он это хладнокровно и неторопливо, без всяких эмоций, никому ничего не обязанный объяснять.

Василий сжал до ломоты зубы, сквозь тонкую сероватую кожу на щеках проступили желваки.

Послышался собачий визг и лай, откуда-то из-за хвоста поезда выбежало десятка два солдат с овчарками. Свирепые псы рвали из рук ременные поводки, тащили за собой солдат. Казалось, еще секунда – и солдаты, не поспев за собаками, распластятся на земле, а сильные, как лошади, псы поволокут их по жидкой и скользкой грязи.

Через минуту собаководы цепью стояли перед колонной, между автоматчиками. На груди у каждого тоже болталось по автомату.

«Значит, сейчас поведут куда-то», – подумал Василий.

Офицер, зевая, что-то стал говорить маленькому юркому человеку с белой повязкой. Тот снял мохнатую, набрякшую тяжелой водой кепку и, прижимая ее к животу, подобострастно слушал, часто кивая головой. Потом надел кепку, повернулся к колонне.

– Ахтунг! Внимание! Господин гауптштурмфюрер объявляет: сейчас двинемся к месту назначения. Тут недалеко... По улицам идти тихо, без разговоров, чтобы не тревожить покой и сон жителей благословенного города. Держать строй. Один шаг в сторону рассматривается как побег. Карается немедленной смертью. Всё. Напра-а-во!

Колонна медленно и неуклюже повернулась. Офицер опять зевнул, так же громко чавкая сапогами и разбрызгивая грязь, пошел куда-то прочь, назад.

Стуча деревянными башмаками по булыжнику, колонна узкой окраинной улицей вышла в поле. Предупреждение идти без разговоров было лишним и ненужным. От деревянных башмаков стоял такой грохот, что не только человеческих голосов, выстрелов не было бы слышно. Но этот грохот не разбудил в городе ни одного спящего. Аккуратные небольшие домики с островерхими черепичными крышами были словно покинуты людьми, не вспыхнуло ни одного окна, не мелькнуло за стеклами ни одного любопытного лица.

В открытом поле было еще холоднее – тут дул ветер, пронизывал насквозь мокрые лохмотья заключенных. Черное небо было завалено низкими облаками. Лишь изредка в тучах появлялись просветы, и тогда вверху реденько мигали последние, потухающие звезды.

Когда колонна тащилась по городской улице, Губарев все оглядывался по сторонам, всматривался в маленькие домики, в какие-то продолговатые двухэтажные кирпичные здания



с полукруглыми окнами. Но ничего не говорил. И только когда вышли в поле, пробормотал, ни к кому не обращаясь:

– Что это за благословенный город, интересно? Очень даже любопытно...

Максим Назаров шел сгорбившись, глядя себе под ноги, хотя внизу была одна чернота, разглядеть там ничего было нельзя.

– Устали, товарищ капитан? – вполголоса спросил Василий. – Ничего, скоро придем, наверное.

Назаров ему не ответил.

Молчание Назарова, его все более тяжелеющая угрюмость пугали Василия, рождали беспокойство. «Что он все размышляет, о чем? – думал часто Кружилин. – Всем не сладко, всех здесь за скотов считают. И каждую минуту, каждую секунду к любому может прийти смерть. Это так, но ведь не пришла пока, живы, черт побери!» Два побега они с Назаровым совершили вместе – из Ченстохова и Ламсдорфа. Бесконечные допросы, зверские избиения, издевательства – все Назаров переносил вроде бы даже легче, чем он, Василий. Особенно изощренно их истязали в лагере беглецов близ Ламсдорфа – однажды целую ночь заставили лежать в ледяной луже. Всю эту ночь шел дождь со снегом, к утру лужа подернулась ледком, Василий уже думал, что их трупы так и вмерзнут в лед, – но нет, на рассвете их пинками подняли, отправили в барак. «Л-ладно, сволочи! – лязгая зубами, угрожающе проговорил тогда Назаров. – В третий раз, Вася, обязательно убежим, доберемся до своих. Все равно доберемся!» Но в третий раз Назаров бежать неожиданно отказался. Это было в концлагере Галле. Отказался, когда все уже было к побегу готово – сэкономлены и припрятаны полторы булки суррогатного хлеба да три дряблые брюквы, старые ботинки и рваная куртка. «Вот что, Вася, – сказал тогда Назаров, впервые отводя от него глаза. – Мы ведь в самом центре Германии. Разве выберешься? Нет... И силы, чувствую, ушли... Да и зима еще. Если хочешь, иди один. Но не советую». И он, Василий, совершил последний свой побег один. Схватили его на другой же день – в водопроводной будке на дне какого-то оврага, приволокли в лагерь и, бесчувственного, бросили в карцер. Он чудом выжил в этом карцере – мокрой и темной коробке, узкой, как гроб. И когда появился в бараке, Назаров, так же отворачиваясь, так же не глядя в лицо, промолвил: «Я говорил... Бесполезно».

Все это было в начале марта. Вскоре разнесся слух, что самых крепких и здоровых заключенных переведут в какой-то другой лагерь. В число этих «самых здоровых и крепких» попали и Василий с Назаровым. Но, как самых отъявленных и неисправимых бегунов, эсэсовцы сковали их перед погрузкой в вагоны цепью. И всю дорогу Василий думал с тревогой о капитане Назарове: ведь раньше он был не такой, не такой... Думал об этом и сейчас.

\* \* \*

Тогда, прохладным и солнечным июньским утром 1941 года, конопатый, с розовыми губами немецкий офицер, похожий на стоящего торчком муравья, не соврал: их и в самом деле доставили в пересыльный лагерь для военнопленных советских командиров, устроенный где-то в окрестностях приграничного польского городишка Жешув. Василий, ощущая на плечах гнетущую тяжесть обмякшего тела капитана Назарова, вышел из загона, обнесенного колючей проволокой, где они провели первую кошмарную ночь в неволе. Он шел, покачиваясь, и думал, что этот оставшийся в загоне Антон Савельев, несколько дней назад вскочивший к нему в грузовик на Дрогобычском шоссе, сам себе, чудак, нашел смерть. Интересно бывает: вскочил в машину – а это смерть. Не уцепился бы за грузовик – и, может, успел бы с беженцами уйти от немцев. А теперь... Дядька-то хороший вроде, жалко...

Василий тогда брел позади толпы военнопленных, слышал, как сбоку и сзади глухо топают по мягкой земле тяжелыми сапогами конвоиры. Сердце Кружилина колотилось, от

усталости разрывало грудь. Едкий пот катился со лба и заливал глаза. «Чуть отстану или споткнусь – и смерть! Смерть...» – больно долбила в череп одна и та же мысль. И все-таки Василий, не понимая, как это произошло, остановился вдруг, обернулся, глянул на обнесенный колючей проволокой квадрат земли. Там, за проволокой, сгрудившись в кучу, стояли красноармейцы, с которыми он провел эту ночь. Напрягая зрение, Василий попытался зачем-то разглядеть Антона Савельева, но не мог или не успел. Ближайший немец-конвоир молча замахнулся и ударил его в грудь прикладом. В глазах у Василия стало темно, он начал падать. «Вот и все!» – молнией прорезало в мозгу. Но через мгновение он обнаружил с удивлением, что жив еще. И более того – он по-прежнему шагает куда-то с бесчувственным капитаном на плечах, мимо дымящихся развалин какого-то здания.

Так вслед за кучкой командиров в изорванных одеждах Василий шел, может, час, может, два, слыша сзади и сбоку глухой топот конвоиров. Кроме этих тупых звуков, мозг ничего не воспринимал. Не помнил он, кто и когда снял с его плеч тело Назарова, а только обнаружил вдруг, что капитана несет молоденький лейтенант с перебинтованной головой. Повязка его была черной от грязи и запекшейся крови.

- Вам тяжело, товарищ лейтенант, – проговорил Кружилин. – Давайте, я отдохнул.
- Ничего... А ты молодец, не бросил командира.
- Мы ж земляки с ним.
- А-а...

Этот короткий разговор несколько притушил гнетущее чувство у Василия, принес какое-то облегчение, если оно могло прийти в этих обстоятельствах. Он огляделся, опять увидел топающих, несколько усталых теперь конвоиров. Их было человек шесть, почти вдвое меньше, чем пленных. «Ведь случай! Все в разные стороны, а там... Конечно, кто-то погибнет, а остальные...»

Потом Василий решил, что мысли его глупые. Эти шестеро, сытые, сильные, вооруженные, легко перестреляют их всех. Нет, это не случай. Кроме того, капитан Назаров... Не бросишь же его, это будет чудовищно, это убийство. Значит, случай должен быть другим. И он обязательно будет, не может не быть...

Об этом же Кружилин думал, когда их в какой-то деревушке посадили в глухой фургон, пахнувший почему-то псиной, и повезли по кочковатой дороге. Назаров, пришедший наконец в себя, тяжело стонал, когда машину подбрасывало. Василий сел на ребристый пол, положил голову капитана к себе на колени.

- Где мы? Что с нами? – спросил Назаров.
- Везут нас куда-то, – ответил Кружилин.
- Кто везет?
- Немцы...

– Ага, – будто удовлетворенно проговорил капитан. – Значит, их еще не отбросили за пограничную полосу? Какое же сегодня число?

– Число? – Василий напряг память, пытаясь подсчитать, сколько прошло дней с того момента, как на их казарму посыпались неожиданно снаряды. Это было ночью двадцать второго, потом все утро шел бой. А затем...

А затем в памяти все мешалось – шоссе, потоки беженцев, бой на берегу реки Сан, ночь, бесчувственный капитан Назаров, еще кошмарная ночь, уже в плену...

- Товарищи, какое сегодня число? – спросил Василий.
- Двадцать четвертое июня, – сказал кто-то из глубины фургона.
- И немцев еще не выгнали?! – со стоном прокричал Назаров.
- Успокойтесь, товарищ капитан, – попросил Василий. – Не выгнали пока, так выгонят.
- Обязательно... И – скоро, – прошептал капитан. – Скоро, товарищи... А со мной, Кружилин, ты зря мучаешься. И меня мучаешь. Воды, конечно, нет?

– Как вы можете так говорить, товарищ капитан?! – зло ответил Василий. – А воды нет.

Пересыльный лагерь близ Жешува был образован наскоро и, видимо, всего несколько дней назад на территории каких-то складских помещений. Их привезли туда уже ночью, загнали в душный каменный подвал, из бетонных стен которого торчали ржавые крючья, вдоль одной из стен тянулись промасленные деревянные полки. Но подвал был «с удобствами» – на потолке горела тусклая электрическая лампочка, а в углу стояла ржавая раковина, и из медного, прозеленевшего водопроводного крана тоненькой струйкой текла вода.

Подвал был тесно набит людьми. Когда Кружилин вошел туда с Назаровым на плечах, положить его было некуда, места на полу не оказалось. Василий повернулся вправо, влево. Никто из находившихся в подвале даже не обратил внимания на вновь прибывших, никто не пошевелился, чтобы уступить на полу место для Назарова. Тогда Кружилин без жалости пнул лежащего ближе всего к нему человека:

– Т-ты... Встань! Не видишь?

Человек пошевелился, приподнялся, протер сонные глаза. И спросил удивленно:

– Ты чего... пинаешься?

– А я вот ему сейчас пну, товарищ майор! – донеслось из дальнего угла, и там угрожающе поднялся верзила в обгорелой гимнастерке.

– Успокойтесь, Кузнецов, – сказал тот, кого пнул Василий и кого называли майором. – Нехорошо пинаться... даже и теперь, когда мы все... в таком положении. Что же это будет, если мы все начнем пинаться.

– Простите, товарищ майор...

– Ну, кладите сюда капитана. Что с ним?

– Где-то вода, вода течет... – простонал Назаров.

Василий, положив капитана, пошел к раковине, шагая через спящих. Раковина была полной, слив был замазан чем-то, кажется – куском глины.

– Кружку... дайте кружку.

– А хрустальный бокал не подойдет для вас? – усмехнулся длинный человек по фамилии Кузнецов с двумя кубиками на левой петлице. Правая была наполовину сожжена. – Вот пилотка.

Он протянул грязную пилотку. Василий зачерпнул ею из раковины. Очень вдруг ему самому захотелось сделать хоть один глоток, по горлу прошла судорога. Но, заметив насмешливый взгляд человека с обгорелой петлицей, Кружилин пошел к капитану.

Потом человек, которого пнул Василий, оказавшийся майором медицинской службы, осмотрел ноги, плечо и грудь Назарова. Осматривал он, почему-то брезгливо поджав тонкие губы. И попросил воды.

Кружилин тотчас принес еще полную пилотку. Майор мокрой тряпочкой – кажется, своим носовым платком – обтер Назарову раны, немного отмочил засохшие коросты. Помогал ему тот самый долговязый Кузнецов. Майор что-то сказал ему, тот помедлил, враждебно поглядел на Василия и откуда-то извлек небольшой, толстого стекла, пузырек с йодом.

Майор, крепко сжав тонкие губы, сильными пальцами безжалостно сорвал вдруг с раны на груди Назарова коросту. Капитан дернулся от боли, вскрикнул. Крик перешел в стон, и тут же Назаров весь обмяк, вытянулся, бездыханный, на полу – не то потерял сознание, не то умер. Не обращая на это никакого внимания, майор коротко бросил, будто у себя в операционной:

– Бинт.

Василий поглядел на Кузнецова, но тот лишь усмехнулся. Тогда Кружилин сбросил грязную гимнастерку, снял нательную рубаху, вонючую и мокрую еще от пота, тоже грязную до черноты, и начал рвать ее на полосы.

Снарядный осколок ударил в грудь Назарова чуть ниже правого соска и вскользь, вырвав порядочный кусок мяса. Края рваной, безобразной раны были воспалены, накопившийся под

коростой гной майор вычерпывал и выковыривал из раны концом носового платка, смоченным в йоде. Затем плеснул в рану прямо из пузырька, взял лоскут из рубахи Василия, осмотрел его со всех сторон, со вздохом отложил в сторону и начал расстегивать свою гимнастерку.

Тело у майора было нежно-белым, чистеньким, как у девушки. Но когда он рвал на полосы свою относительно свежую нательную рубаху, когда перематывал грудь, а потом ноги бесчувственного Назарова, тоже предварительно обмазав раны йодом, под белой его кожей прокатывались тугие мускулы, и Василий подумал, что, случись с ним бороться, он, Василий, не обижавшийся на силенку, наверное, не выдюжил бы.

Закончив перевязку, майор несколько минут сидел так, голотелый, глядел на бесчувственного Назарова. Глаза майора, кроме тоски, ничего не выражали. Но когда на лбу у капитана начали проступать бисеринки пота, майор вздохнул облегченно и стал натягивать гимнастерку.

– Через неделю ходить будет, с палкой, – проговорил он, тщательно застегивая все пуговицы на гимнастерке. – Раны на ногах и плече, к счастью, пустяковые – чуть мякоть задета. Да и на груди... Крови он только потерял много. Счастливо ваш командир отделался, товарищ боец.

– Все равно его в госпиталь надо... как только наши отобьют нас.

Майор повернулся медленно к Василию, тонкие губы его с болью изогнулись.

– Ну да, – кивнул он седеющей головой.

Майор сидел на цементном полу, подтянув ноги почти к подбородку, устало свесив с колен руки с широкими ладонями и длинными пальцами.

– Только я... если бы не товарищ капитан, не стал бы ждать, пока наши отобьют, – снова проговорил Василий. – При первой же возможности убежал бы... вырвался.

Майор не шевельнулся даже, будто не слышал, а лейтенант Кузнецов, сидевший сбоку, повернул к Василию голову, строго и неодобрительно посмотрел на него. И через несколько секунд голосом насмешливым и недоверчивым проговорил:

– Лихой ты... Как звать?

– Кружилин Василий.

– А я Герка. Герка Кузнецов.

Водяная струйка все текла в раковину, тоненько позванивая. Время от времени мигала почему-то пыльная электрическая лампочка, грозя потухнуть совсем. Когда она мигала, на мгновение наступала темнота, и Василию каждый раз казалось, что, когда лампочка снова вспыхнет, откроется совсем другая картина – просторная и светлая красноармейская казарма там, под Перемышлем, длинные ряды двухъярусных железных коек, на которых спит вповалку рота капитана Назарова, а он, Василий, дневалит. Но лампочка, вспыхивая, освещала холодно-мертвенным светом все тот же сырой каменный мешок, на бетонном полу сидели и лежали беспорядочно командиры Красной Армии – лейтенанты, капитаны, майоры, – а у дальней стенки лежал какой-то грузный человек с тремя шпалами на петлицах – подполковник. Он лежал на спине, все время глядя в потолок не мигая. И было непонятно, жив он или мертв.

Рядовой здесь был только один – Василий Кружилин.

Всю ночь люди в грязных, разорванных, обгоревших и окровавленных гимнастерках стояли, хрипели, ворочались. Василий, смертельно уставший, хотел спать, но сидя уснуть никак не мог. И только когда на потолке засинела отдушина, заделанная толстой решеткой, он обхватил руками колени и, опустив на них голову, впал в небытие.

Прохватился он от голоса Назарова:

– Вася? Кружилин...

От неудобной позы шея Василия затекла, он ее с хрустом разогнул, поднимая чугунную голову. Под затылком словно выстрелило, причинив невероятную боль.

– Ну как вы, товарищ капитан? – спросил он, поднимаясь. – Мы перевязали вас. Вот майор...

– Принеси водички, Вася.

Кружилин глянул под ноги, поднял мокрую пилотку, стал пробираться к раковине. Но, не дойдя до нее, вздрогнул, остановился и закричал пронзительно:

– Товарищи! Товарищи-и!!

Крик был настолько страшен, что мгновенно пробудились, очнулись от тягостного забытья люди, кто мог, повскакивали с пола, каменный мешок наполнился гулом и говором.

Вскочил и лейтенант Кузнецов, шагнул к сгрудившейся у стены толпе, протиснулся вперед меж грязных тел и замер в оцепенении рядом с Василием... Подполковник, лежавший вчера вечером недвижимо на спине, сейчас сидел, упершись спиной в бетонную стену, склонившись немного вбок. Окончательно упасть его грузному заоченевшему телу на пол не давал черный от масла и грязи электрический шнур. Один конец электропровода был привязан к железному крюку, торчащему из стены над головой подполковника, а другой – к его правой ноге. Сделанная посредине петля туго затягивала короткую, заросшую седоватой щетиной шею подполковника, так туго, что провода на шее не было видно.

Василий, онемев, смотрел на эту перехваченную жестким проводом посиневшую до черноты шею, на свесившуюся тяжелую голову подполковника. Собственно, ничего страшного, если бы не этот электрошнур, привязанный к крюку на стене, петлей захлестнутый на шее, а затем намотанный на правую ногу, в позе подполковника не было. Казалось, он, прислонившись спиной к стенке и устало свесив на плечо голову, просто спит. Но этот шнур... Василий вспомнил, как подполковник лежал вчера вечером на полу и, не мигая, смотрел в потолок. В это время, видимо, и созревало его страшное решение. Василий представил, как этот человек, когда все уснули или забылись, неслышно приподнялся, привязал к железному крюку конец провода, случайно, видимо, найденного им в подвале, сел спиной к стене, сделал посредине шнура петлю, накинул ее на шею, подогнул правую ногу, обмотал вокруг сапога другой конец электрического шнура и рывком вытянул ногу, намертво затягивая провод на шее... Вон вытянутая нога так и окостенела. Это какой же страшной силой воли надо обладать, чтобы все это придумать, решиться на это и осуществить страшное свое решение?!

– Дур-рак! – услышал Василий сбоку и опять вздрогнул. Это хриплым голосом произнес майор, сделавший вчера Назарову перевязку.

– Строго судите, товарищ майор, – произнес бритоголовый, несколько грузноватый человек со знаком различия старшего лейтенанта.

– Строго? Не знаю. Но человек в любых условиях... даже вот в таких, в каких мы оказались, человеком оставаться должен! И смерть принять, если она неизбежна, с достоинством и по-человечески. Отдав борьбе с нею, а значит, и борьбе с врагом, все силы, сколько их есть...

Проговорив это, майор еще раз окинул задавившегося подполковника нехорошим взглядом, повернулся и пошел на свое место.

Напоив из грязной пилотки Назарова, Василий все сидел возле него и все думал о страшной смерти подполковника, который предпочел ее позору плена. С одной-то стороны, конечно, избежал позора. А с другой... Ну да, они все в плену. Ну а что, виноват разве он, Василий, что оказался здесь? Или вот капитан Назаров? Разве струсили они там, под Перемышлем? Разве взяли да подняли сразу перед врагами руки? Разве не дрались до последнего, не держались, сколько было сил? И майор этот, конечно, так же, и лейтенант Герка Кузнецов, и все остальные, и тот подполковник. Что ж, всем теперь, как он, давиться? Когда наши освободят, разберутся, кто и как попал в плен. А пока... прав этот майор, надо и здесь, даже здесь, до последнего...

– Как вас звать, товарищ майор? – неожиданно спросил Кружилин.

– Звать? Да звать меня Никита Гаврилович Паровозников.

Застонал опять проснувшийся Назаров. Постонал, затих и, полежав с закрытыми глазами, медленно разомкнул опаленные ресницы, начал внимательно, осмысленно разглядывать подвал и людей в нем.

– Вам лучше, товарищ капитан? – спросил Василий. – Вон товарищ майор сказал, что ничего страшного...

– Ему бы бульончику куриного сейчас, – проговорил Кузнецов. – Быстро бы крови в жилах прибавилось.

Капитан Назаров облизнул запекшиеся губы.

– Ничего, Вася... В голове шумит. А ногами, гляди, шевелю.

И он действительно пошевелил ногами.

От слов Кузнецова у Василия засосало все внутри, даже затошнило. Сколько же времени он не ел? За эти дни пережито было столько, что думам о еде не оставалось ни места, ни времени, и голод как-то не чувствовался. А сейчас в желудке вдруг сразу застонало, в голове замутилось, все тело, молодое, сильное, только смертельно уставшее, потребовало сразу пищи.

– Ты-ы! – мучительно и зло простонал Василий. – За такие слова...

Говорить ему дальше помешали спазмы в желудке, и длинный, с тяжелыми руками лейтенант сразу все это понял, виновато опустил голову.

...Покормили их только к вечеру какой-то бурдой, похожей на помои. Дали еще по куску хлеба, вывалив его из мешка прямо на липкий от грязи цементный пол. Хлеб был на удивление белым, мягким, только что выпеченным, но совершенно безвкусным, чужим, не русским.

Вторая ночь, как и первая, прошла в тяжелых столах и хрипах, но в эту ночь происшествий никаких не случилось. Утром в подвал вбежали несколько эсэсовцев, загалдели, поднимая раненых и здоровых. Они пинали неуклюжие тела беспомощных людей, хлестали их палками и короткими толстыми плетями. Оружия ни у одного эсэсовца не было.

Когда пленные встали, сгрудившись толпой у стенки, где так и лежал задавившийся подполковник, в подвал вошел тот самый длинный и тонкий немецкий офицер, который приезжал за пленными в лагерь под Перемышлем и поразил Василия чистейшим русским языком.

Сейчас он был в мокром черном плаще, с которого капало, в высокой, сразу ставшей ненавистной Кружилину фуражке и походил не на муравья, стоящего торчком, а на морщинистый обрубок бревна с косо срезанным торцом и только что облитым смолой или гудроном.

Конопатый офицер был отчего-то в хорошем настроении, припухлые розовые губы его улыбались.

– Здравствуйте, господа, – проговорил он и окинул взглядом весь подвал, увидел Василия Кружилина, на шее которого висел Назаров, остановил на них свои цепкие зрачки. – О-о, примерный русский солдат! Очень похвально, что вы не бросаете своего командира.

С левого боку Назарова поддерживал Кузнецов, забросив, как и Василий, руку капитана на свою шею. Немец скользнул прозрачными глазами по лицу Кузнецова и повернулся опять к Василию:

– Фамилия?

Василий молчал. Он смотрел прямо в конопатое лицо немца, думал, что, когда его обливали смолой или гудроном, лицо чем-то прикрыли, но мелкие капельки все же попали на лоб, щеки, даже подбородок и вот прикипели намертво. И эти конопатины рождали ненависть в душе Василия, она, эта ненависть, туманила мозг, хотелось не назвать свою фамилию, а выкрикнуть немцу в лицо что-то обидное, крепкое и непокорное.

– Вы что, русского языка не понимаете? – построже спросил немец.

Василий почувствовал, как сатанеют его собственные глаза. Понимая, что, если он не сдержится и что-то выкрикнет в лицо офицеру или даже и не выкрикнет, но заметит немец в его глазах ненависть – и он, Василий, и капитан Назаров, и, может быть, даже Герка Кузнецов будут немедленно застрелены, – Кружилин неимоверным усилием воли сжал зубы и прикрыл веки. И тут же услышал, как предостерегающе и одновременно требовательно толкнул его в бок стоящий справа майор Паровозников.

– Красноармеец Кружилин, – произнес Василий, открывая глаза. И добавил, чувствуя, что надо добавить: – Простите, голова закружилась.

– Мой чин унтерштурмфюрер, – сказал немец, и прежняя улыбка заиграла на его губах. – Надо добавлять – господин унтерштурмфюрер. Запомните это крепко. Зовут меня Карл Грюндель. А ваше имя?

– Василий, господин... унтерштурмфюрер.

– Зер гут... Василий. Очень хорошее русское имя.

Вдруг офицер что-то заметил сквозь толпу у стены, а может быть, услышал трупный запах и, ни слова не говоря, шагнул вперед, прямо на людей. Пленные расступились, и немец увидел удавившегося вчерашней ночью подполковника.

Тем же утром кто-то отвязал концы электропровода от крюка и от правой ноги подполковника, но с шеи снимать не стал. Сейчас труп лежал вдоль стены, ничем не прикрытый, смотанные концы провода торчали над его почерневшим лицом.

– Кто это сделал? – рявкнул сердито немец.

– Сам он... – произнес кто-то после общего короткого молчания.

Офицер поглядел вверх, отыскивая крюк, на котором мог повеситься пленный красный командир. И, ничего не обнаружив на потолке, побагровев то ли оттого, что задирает голову, то ли от гнева, прикрикнул:

– Русские свиньи! За ложь я буду расстреливать без пощады! Каким образом он мог сам?

– Один конец провода вот к этому крюку привязал, другой – к своей ноге, – послышался тот же хриплый простуженный голос. – На проводе сделал кольцо, петлю... надел на шею и вытянул ногу. Не перенес позора.

– Как, как? – неожиданно мягко и заинтересованно спросил Грюндель. Гнев его сразу улегся, он опять оглядел труп, теперь с любопытством. Шагнул к стене, рукой в кожаной перчатке потрогал торчащий из стены железный крюк. – Покажите, как это он... Вы, вы, который объяснил, но непонятно.

Старший лейтенант, к которому обращался немец, был тот самый, что осудил Паровозникова за строгость к покончившему с собой подполковнику. Он побледнел, но с места не тронулся.

Эсэсовец усмехнулся, что-то сказал негромко по-немецки. Ближайший к нему солдат с резиновой палкой в руке кинулся к дверям, через несколько секунд в подвал, грохоча сапогами, вбежали один за другим четверо автоматчиков, встали по бокам дверей, взяв оружие на изготовку.

Пленные, давя друг друга, шарахнулись в дальний угол, сгрудились там, сбились в плотную кучу. Василий и Кузнецов, на плечах которых все висел Назаров, оказались с самого краю. И все трое понимали, что, если немцы полоснут из автоматов, первые пули достанутся им.

У стенки, возле труп, остались только немецкий офицер и бритоголовый старший лейтенант. Последний раз он обрился, видимо, перед началом войны, может быть, перед воскресеньем, в субботу, 21 июня, и за несколько дней волосы на затылке и висках чуть отросли, обозначив огромную лысину.

Когда все шарахнулись в дальний угол, лишь этот старший лейтенант не тронулся с места. Он один пока понял, видимо, чего хочет этот конопатый немецкий офицер с прозрачными глазами, и стоял сейчас перед ним, обреченно уронив вдоль туловища руки. Да еще, может быть, понял майор Паровозников – он, стоя рядом с Кружилиным, глядел на немца угрюмо и с каким-то презрительным превосходством.

– Ну-с, показывайте, как это он сам, – холодно сказал Грюндель.

– Расстреляйте лучше сразу, – хрипло произнес старший лейтенант.

– Сразу? Многого вы хотите...

Офицер сделал едва заметный кивок, двое солдат подскочили к старшему лейтенанту и с двух сторон умело начали хлестать по лицу, по бритой голове короткими плетьюми. От первых же ударов кожа на его щеке вздулась и лопнула, брызнула кровь.

– Ну? – прикрикнул Грюндель. – Покажете – останетесь жить...

Ни слова больше не говоря, может быть даже и поверив словам немца, старший лейтенант, обливаясь кровью, склонился над трупом подполковника, ослабил петлю на его заколовшей шее и снял провод. Затем конец этого провода привязал к крюку, сел спиной к стене подвала, надел петлю на свою шею, согнул правую ногу и обмотал ступню другим концом провода.

– Вот так это он... сделал.

Немецкий офицер за всеми этими действиями старшего лейтенанта наблюдал с ярко выраженным любопытством, временами пошевеливал белесыми бровями, как бы все более удивляясь или возмущаясь жестокой решимости самоубийцы.

– Ну а дальше?

– А дальше он... рывком вытянул свою ногу и затянул... петлю на шее, – произнес старший лейтенант и рукавом гимнастерки вытер со щеки все еще обильно текущую кровь.

– Так вытягивайте вашу ногу.

Старший лейтенант, окаменев, тупо глядел на выглядывающий из-под длинного черного плаща немца черный носок его сапога. По щеке обреченного – теперь это понимал всякий – все текла кровь, а на лбу, на широкой лысине, проступили капли пота.

– Показывайте же! – еще раз вскрикнул Грюндель. – Вы, перенесший позор! Не хватает смелости! *Hilf ihm!*<sup>2</sup> – кивнул он своим солдатам.

Двое с плетьюми, подскочив с двух сторон, мокрыми, заляпанными сапогами нажали на колено старшего лейтенанта, с усилием выпрямляя его ногу. Электрошнур, натянувшись, как струна, намертво затянул петлю на шее. Несчастный обеими руками ухватился было за натянутый провод, будто мог помешать петле затянуться...

Когда эсэсовцы с плетьюми наступили на согнутое колено старшего лейтенанта, по толпе пленных прокатился сдавленный стон и сбитые в кучу люди шевельнулись – будто судорога прошла по ним. Тотчас автоматчики приподняли угрожающе оружие. И Василий, не в силах больше ни на что смотреть, чувствуя, что вот-вот от бессильной ярости, от ужаса происходящего потеряет сознание, закрыл глаза.

– Смотри! – кто-то прохрипел ему в самое ухо и больно толкнул кулаком в бок. – Смотри...

Это опять был майор Паровозников. Тонкие губы его были бледны, сквозь отросшую щетину на щеках и подбородке просвечивала белая, как бумажный лист, бескровная кожа, а глаза ничего не выражали. Они, эти светло-серые глаза майора, как показалось вдруг Кружину, прямо на виду худели...

Василий покорно глянул вперед. Старший лейтенант, как ранее подполковник, сидел, прислонившись спиной к стенке, будто уснул, и голова его во сне чуть склонилась вбок. Грюндель внимательно и удивленно смотрел на советского командира, словно не веря, что тот уже мертв.

Затем круто повернулся, сверкнув под тусклой лампочкой мокрым плащом, сделал два шага к дверям и опять резко повернулся к заключенным.

– Господа, я очень сожалею, – начал он злым и сухим голосом, вытянув сильно вперед широкий раздвоенный подбородок, – очень я сожалею, что больше ни у кого из вас не нашлось такого мужества, как у этого офицера. – Немец кивнул на лежащий вдоль стены труп подполковника-самоубийцы. – Чем больше вы будете убивать сами себя, тем больше облегчите нашу

---

<sup>2</sup> Помогите ему!



задачу. А задача наша, в сущности, проста – истребить вас. Не всех, не-ет! Нам, немцам, нужны рабы, рабочий скот... Если мы оставим из каждых десяти одного, нам будет достаточно. Оставлять будем самых сильных и тупых, интеллектуально недоразвитых. Мозг ваш нам не нужен, нужны мускулы... Кружилин, три шага вперед!

«Вот когда конец!» – сверкнуло у Василия в голове, под черепом больно треснуло, а из трещины потекло что-то, обжигая лоб, виски, затылок. Он стоял не шевелясь, окаменев, не чувствуя ни рук, ни ног, ни тяжести Назарова на своей шее.

– Ты, свинья! Тебе приказано! – заревел, багровея, Грюндель.

Кружилин не видел, только почувствовал, как сбоку подскочил немец с плетью, взмахнул ею и будто просек левое плечо. Василий пошатнулся, выпустил перекинутую через шею руку Назарова, понимая, что, если упадет сам, упадет и капитан Назаров. Их пристрелят обоих, и он будет виноват в гибели капитана...

...Потом Василий стоял перед Грюндем, а тот долго смотрел на него. В жидких глазах немца подрагивало злое, беспощадное белесо-голубоватое пламя.

Вдруг Грюндель выдернул из кармана своего черного плаща руку в черной перчатке и молча протянул ее в сторону. Тотчас ближайший эсэсовец вложил в эту руку плеть. Василий сжался, опустил невольно глаза. Опуская их, успел заметить, что во взгляде немца, на всем его конопатом лице проступило надменно-презрительное удовлетворение. И это удовлетворение фашиста своей силой, беспредельной властью оскорбило Василия, наполнило каждую клеточку мозга, каждый сантиметр измученного тела чем-то горячим и тяжелым, будто от ненависти закипела вся кровь, которая была у него внутри. Он с трудом поднял набрякшие этой горячей кровью веки, но смотреть стал не в глаза немца, а на его мокрые плечи и тонкую шею. На резиновой ткани плаща были рассыпаны дождевые капли, каждая капелька отражала чужой утренний свет, падающий из зарешеченного окошка на потолке. Эти искрящиеся точки резали ему глаза, и Василий думал, что сейчас, как только немец ударит его плетью, он качнется вперед и, падая, вцепится обеими руками в тонкую шею фашиста, повалит его вместе с собой, пальцами продавит кожу и рванет, раздерет эту шею на лохмотья. Пусть они стреляют в него, Василия, прошивают его тело из автоматов – он не умрет, не оставят его силы до того момента, пока он не задушит этого фашиста, не оторвет ему голову...

Грюндель не ударил Василия, он только ткнул рукоятью плети в плечо, поворачивая Кружилина лицом к остальным пленным. И, постукивая рукоятью в свою ладонь, вновь заговорил:

– Вы находитесь уже не в России. И никогда больше туда не попадете. Разве что дымом из печи крематория... И России больше нет. И никогда не будет. Войска фюрера продвинулись в глубь ваших... бывших ваших лесов и степей на несколько сот километров и успешно продвигаются дальше. Наши танки и автомашины идут полным ходом, сопротивления нигде не встречают, потому что войска ваши смяты, раздавлены и уничтожены. Львов, Минск, Киев и множество других городов уже в наших руках. Скоро германские танки появятся на улицах Москвы. Первое, что они сделают, – развернутся на Красной площади и в упор расстреляют Мавзолей Ленина. И это станет концом нашей самой блестящей войны, концом вашей паршивой России... Это произойдет через две, в крайнем случае – через три недели.

«Врешь... врешь! – думал Василий неожиданно спокойно, понимая отчетливо и ясно, что конопатый этот немец действительно врет. – Верно, танки ваши где-то за Перемышлем, за Дрогобычем... Но так ли уже глубоко продвинулись ваши войска? Львов, Киев... А тем более – Москва?! Нет, нет!»

В голову Василия толчками била кровь, но все тише и тише, странным образом утихиваясь.

– Из всех вас самым порядочным здесь является этот человек, этот солдат, – продолжал Грюндель, показывая плетью на Василия. – Мы, немцы, понимаем и ценим солдатский долг, мужество и верность. Этот солдат не бросил своего офицера, это вот дерьмо, которое вы дер-

жите на плечах. – Немец ткнул плетью в сторону Назарова. – Если он выживет, будет у... как вас? Василь...

– Кружилин, – проговорил неожиданно для самого себя Василий.

– ...будет у господина Кружилина в денщиках. Сапоги будет ему чистить, белье грязное стирать... – Грюндель резко повернулся к Василию. – Назначаю вас пока старостой этой камеры. Номер вашей камеры одиннадцатый. – И протянул ему плеть.

Василий, опешив и онемев, стоял не двигаясь.

– Берите же! – рявкнул Грюндель.

Василий, теперь даже не вздрогнув от зловещего этого окрика, еще помедлив, принял плеть.

– Так, хорошо... – усмехнулся чему-то Грюндель. – Хорошо, что вы приняли эту плеть – символ и средство вашей власти над этими безмозглыми существами, кое о чем раздумывая. Думайте, думайте, господин Кружилин. – Немец сделал ударение на слове «господин». – И вы найдете свое место среди великой немецкой нации, сделаете свою жизнь... К завтрашнему утру составьте список наличного состава вашей камеры – возраст, звание, состояние здоровья... Бумагу вам дадут.

Так же резко повернувшись лицом к угрюмо стоявшим вдоль стены пленным, Грюндель, сдерживая на губах усмешку, отчетливо произнес:

– За малейшее неповиновение вашему старосте – смерть. За словесное оскорбление его чести и достоинства – смерть. За недостаточное оказание ему знаков внимания, если он таковое в ком-либо усмотрит, – на первый раз публичная порка, на второй раз смерть... Надеюсь, я выразился ясно? Ауфвидерзеен, господа. До свидания...

Взмахнув полами плаща, Грюндель крутанулся и пошел прочь. Следом загрохотали по бетонному полу коваными сапогами эсэсовцы, затем автоматчики. С грохотом захлопнулась дверь, и в каменном мешке установилась тишина. Люди у стены стояли молча, лишь дышали тяжело и глядели на Василия. А Кружилин глядел на них, только сейчас поняв до конца, в каком же положении он оказался, не понимая, как это произошло, не зная, не представляя, что он теперь будет делать, что вот он сейчас, какое первое слово им скажет.

Василий стоял, опустив безвольно отяжелевшие руки. Потом он почувствовал плеть в правой ладони, приподнял эту плеть, короткую, тяжелую, сплетенную из жестких ремней, будто хотел получше рассмотреть ее. Плеть была новенькая, только что со склада, кожа резко пахла. Она ни разу не была еще в употреблении. Люди, стоявшие у стены толпой, молча наблюдали за действиями Кружилина. Наблюдал исподлобья и капитан Назаров, висевший на плечах майора Паровозникова и лейтенанта Кузнецова.

Помедлив еще секунду-другую, Кружилин размахнулся и швырнул плеть в сторону раковины. А сам опустился на бетонный пол, осел, будто надломился враз, подтянул к лицу колени, спрятал в них голову. Спина его затряслась.

Тогда майор Паровозников глазами попросил кого-то поддержать вместо него капитана Назарова, подошел к раковине, поднял плеть и протянул ее Василию:

– Возьми.

Кружилин не приподнял головы.

– Я самый старший в камере по званию. Я приказываю – возьми. А там видно будет... как ею действовать.

– Никак я не буду действовать.

– Ну, расстреляют тебя, – жестко произнес майор. – Легче нам всем, что ли, от этого станет?

Толпа уставших от долгого стояния людей зашевелилась, расплзлась по камере. Люди принялись устраиваться, кто как мог. Назарова бережно положили на его место.

Никто ничего Василию не сказал. И сам Василий, приняв от Паровозникова плеть, долго молчал. Потом спросил:

– Унтерштурмфюрер – это что за чин у них?

– Это эсэсовское звание. Соответствует, кажется, армейскому лейтенанту, – ответил майор Паровозников.

Василий еще посидел недвижимо, поднялся, прошел к Назарову, сел возле него.

– Как вы себя чувствуете, товарищ капитан?

– Голова кружится. Наверное, от... от этого долгого стояния. А так ничего... Неужели я буду жить?

Назаров за эти несколько дней оброс густой щетиной. На голове у капитана не было ни одного седого волоса, а вылезшая щетина на лице была наполовину белесой. Это удивило Василия, и он почему-то подумал: неужели с бороды люди сесть начинают?

– Я буду, буду жить, Кружилин! – зашептал вдруг капитан Назаров, лихорадочно блестя глазами. – Ах, сволочи! Что с людьми делают! Со старшим-то лейтенантом этим... Я, назло им, выздоровею! И вырвусь отсюда! Мы с тобой вырвемся вместе. И будем их, гадов, бить, стрелять, давить... Пока ни одного не останется! Пока ни одного... на всей земле!

\* \* \*

«Да, раньше капитан Назаров был не такой...» – все размышлял Василий Кружилин, пока их колонна по раскисшей дороге тащилась куда-то в неизвестность. Дорога петляла между жиденьких перелесков с молодой, ослепительно засверкавшей под первыми лучами солнца листвой, мокрой от ночного дождя, иногда выбегала на открытое поле. Грязь была здесь не такой, как в Сибири, как в Ойротии, отметил Василий. Светло-серая, клейкая, точно перемешанная с яичным белком, она крепко присасывала деревянные колодки, и, чтобы из нее выдернуть ногу и сделать следующий шаг, нужно было напрягать все силы.

Солнце часто скрывалось за текущими по блекло-зеленому небу дымными облаками, и тогда сразу становилось холоднее, ветер пронизывал ветхие лохмотья, и по грязному, давно не мытому телу Василия словно рашпилем шоркало.

Валентин Губарев, хлюпая по грязи, сильно размахивая руками, пристально всматривался зачем-то в перелески и невысокие холмики, часто оглядывался, чем привлёк даже внимание конвоиров. Один из них, пожилой, толстый, с изъеденным в дыры лицом, погрозил спустить на него собаку, а потом шагал с боку колонны, все время напротив Валентина.

– Думает, бежать примеряюсь, сволота, – произнес негромко Валентин. – А я не примеряюсь.

– Hrf auf zu quatschen!<sup>3</sup> – угрожающе крикнул немец.

Максим Назаров шагал бок о бок с Василием, согнувшись, уныло глядя в землю. Покрасневшие от холода ладони он беспрерывно совал в рукава полосатой куртки. Сковывающая их цепь была длиной метра в полтора, и Василий, чтобы Назарову было легче, почти всю ее намотал на свою руку.

По этой дороге они тащились до полудня, сделав один только привал где-то на открытой поляне. Конвойные приказали им сесть прямо в холодную грязь, и ослушаться было нельзя. Отдых превратился в пытку, лучше бы уж, несмотря на смертельную усталость, идти дальше. Но конвойные по очереди обедали, сидя на взывшихся откуда-то легких раскладных стульчиках, подолгу пили из своих фляжек горячий кофе, что-то рассказывали друг другу и на все поле гоготали. Затем кормили своих собак.

Так, коченея, люди сидели в грязи часа два, если не больше.

---

<sup>3</sup> Прекратить разговоры!

Наконец колонну подняли и повели дальше по пустынной дороге. За все время с самого утра колонну никто не обгонял и навстречу никто не попадался. Жизнь кругом словно вымерла.

Когда люди уже начали падать от изнеможения и голода, дорога заметно поползла вверх между негустых деревьев, и идти стало еще труднее. Конвоиры теперь оживились, громко орали, требуя держать равнение. Некоторые бегали вдоль колонны, то в одном, то в другом конце ее громко, как выстрелы, щелкали длинные плети. Все это означало, что колонна приближалась к месту назначения.

И, действительно, вскоре за верхушками деревьев показались темные от дождя крыши строений. Миновали пропускной пункт, из будки выскочил высокий солдат, торопливо поднял полосатый шлагбаум, и колонна двинулась дальше. Впереди замаячила какая-то кирпичная башня, по всем признакам водонапорная. А за башней возникли островерхие сторожевые вышки, так знакомые каждому заключенному. «Все, кажется, пришли», – с облегчением подумал Василий.

Но конец мучительного пути все не наступал. Водонапорная башня давно осталась позади, а колонну гнали и гнали дальше по залитой грязью дороге, мимо высокого дощатого забора, поверх которого в несколько рядов была натянута колючая проволока, мимо сторожевых вышек. За забором виднелись темные постройки заводского типа, высокие кирпичные трубы, некоторые из них жиденько дымили...

Минут через двадцать колонна вышла на мощенную камнем довольно широкую улицу, по бокам которой стояли дощатые, казарменного вида бараки, каменные коробки с редкими и очень маленькими окнами, миновали гараж. Опять показались вдруг сторожевые вышки.

Наконец колонна остановилась на просторной площадке. Грязи здесь не было, отмытые дождем гладкие булыжники блестели. Василий понял, что они наконец прибыли в какой-то лагерь. На миг ему почудилось, что площадка вымощена не булыжником, а человеческими черепами. Голова закружилась, он закрыл глаза. Но, боясь упасть, тут же открыл их, стал глядеть на высокую трехэтажную деревянную вышку, под которой был, видимо, главный вход в лагерь, на запертые массивные чугунные ворота. По верху ворот шли какие-то буквы. «Ob es recht hat oder nicht – es ist mein Vaterland», – прочитал Василий и поглядел на стоявшего рядом Губарева. Тот чуть скривил губы и вполголоса перевел: «Право оно или нет – это мое отечество». Назаров поднял глаза, тоже прочел эти слова, затем поднял глаза еще выше – на болтающийся под несильным ветром черный флаг с белой свастикой, укрепленный на тонком железном стержне, но ничего не сказал.

Справа и слева к сторожевой вышке примыкали не очень длинные одноэтажные каменные коробки с крепкими железными решетками на окнах. А далее в ту и другую сторону тянулись высоченные, в несколько рядов, заборы из колючей проволоки. Проволока была натянута на изоляторы. Это означало, что колючий забор постоянно находится под током высокого напряжения.

Василий более или менее спокойно оглядел проволочный забор под током, шеренгу сторожевых вышек, тянувшихся влево и вправо от главного входа, маячивших там часовых. Все это было знакомо по другим лагерям, ничего иного он не ожидал и тут. Но циничные в своей откровенности слова над воротами его поразили. Он стоял и думал: что же это получается? Не важно, что их отечество попирает правду и человечность, чинит на планете разбой и невиданные зверства? Это их отечество... Не важно, что льется реками человеческая кровь, разрушаются в пыль и прах города, в газовые камеры сотнями и тысячами загоняются даже женщины и дети... Это делается во имя их отечества! Что же это тогда за отечество такое? И люди ли живут в нем? И неужели непонятно, что государство, исповедующее подобные нравственные принципы и воплощающее их на деле, враждебно человеческой природе и самой жизни, оно долго не выживет, оно обречено...

Колонна, обессиленная переходом, стояла недвижимо и безмолвно, лишь непрерывно кашляли измученные люди. Конвойные, повернувшись лицом к колонне, держали автоматы на изготовку, будто боялись, что именно сейчас-то люди в полосатых одеждах взбунтуются и побегут в разные стороны. Возле ног каждого конвоира лежала или сидела рослая, с теленка, овчарка. Собаки, вывалив языки, тяжело и часто дышали. Едва какой-нибудь заключенный, стоящий в крайнем ряду, переступал с ноги на ногу, овчарки угрожающе рычали и скалили зубы. Псы знали свое дело.

Остроту их зубов Василий помнил, хотя произошло это больше года назад, в январе сорок второго. На плацу лагеря Ламсдорф точно такие же псы под рев пьяных эсэсовцев остервенело рвали его тело. И если бы не ватное промасленное пальто...

Тогда, в середине января, в Ламсдорфе стояли лютые морозы, на работы не выводили, потому что у заключенных никакой одежды, кроме полосатых курток из тонкой материи и штанов, вот этих, какие на людях и сейчас, не было. На весь блок, в котором жил Василий, имелось рваное, пропитанное мазутом ватное пальто, неизвестно как там очутившееся. Староста блока, пожилой тощий поляк, разрешал им пользоваться тем заключенным, чья очередь подходила заготавливать дрова или воду.

Числа шестнадцатого или семнадцатого подошла очередь Василия. Он поднялся затемно, сполз с верхних нар, натянул это заскорузлое от мазута и человеческого пота пальто и вышел наружу. После спертого и затхлого воздуха тесного помещения в грудь ударили свежие струи, и, как всегда, голова закружилась. Прислонившись к бревенчатой, покрытой хлопьями изморози стене, Василий чуточку отдышался, впрягся в лямку обледенелых санок, на которых стояла железная бочка, и потащил их к колодцу.

Колодец был в дальнем конце лагеря, там раздавались уже крики и ругань. «Опоздал, пораньше надо бы, прстоишь теперь в очереди...» – мелькнуло у Василия. От соседних блоков тоже двигались к колодцу санки с бочками.

Чтобы как-то выиграть время и поспеть к колодцу хотя бы не последним, Василий решил пробежать с санками прямо через плац. Вообще-то это запрещалось, но в такую рань офицеров в лагере еще не было, а часовые на вышках обычно не обращали на водовозов внимания. Главное – не попасть на глаза дежурному по лагерю или внутренним охранникам. Но если и попадешься, огреют тебя несколько раз плетью – на том все и кончится.

На этот раз, однако, едва Василий дотащил санки до середины плаца, со стороны входных ворот послышался рев мотора и через несколько секунд мелькнули из-за угла эсэсовской казармы автомобильные фары. Сердце Василия оборвалось. Если его заметят, быть беде: в автомобиле солдаты не разъезжают по ночам, в машине, конечно, офицер. А немецкое офицерье сейчас злее собак – фашистов расколошматили под Сталинградом, добивают теперь окруженные дивизии. Все это заключенные знали, в одном из блоков был самодельный радиоприемник. Немцы об этом, видимо, догадывались, время от времени устраивали повальные обыски, но найти радиоприемник не могли.

Согнувшись, задыхаясь от напряжения, Василий побежал. Но было поздно. Развернувшись у казармы и перерезав плац сильными лучами фар, автомобиль, набирая скорость, стал приближаться к Василию. «Задавит!» – пронеслось у Кружилина в мозгу. И он действительно попал бы под колеса, если бы не успел отскочить в сторону, за санки с бочкой.

Черный автомобиль с ревом сделал полукруг и, закрипев тормозами, остановился в пяти – семи метрах. Из него вышел, почти вывалился коротенький, но угловатый и костлявый гауптштурмфюрер – сам помощник коменданта лагеря, а следом за ним еще несколько человек. В машине еще кто-то остался, белело в глубине чье-то лицо, – Василию даже показалось, что там сидит женщина с распущенными волосами.

– Stinkt! Zeig deine Nummer!<sup>4</sup> – заорал помощник коменданта.

– Siebzehntausenddreihundertvierundzwanzig, Herr Hauptsturmführer<sup>5</sup>, – вытягиваясь, отчетливо проговорил Василий.

Раздался собачий лай, к месту происшествия тяжело бежали два охранника, псы на коротких поводках рвались у них из рук. Охранники, разжиревшие, толстые, вытянулись по швам перед начальством, но зады их, обтянутые шинельным сукном, все же выпячивались. Гауптштурмфюрер, трясая от гнева щеками, что-то орал, грозя отправить обоих на Восточный фронт, стегнул хлыстом по лицу одного, потом другого. И вдруг оба они нагнулись, словно заводные, отстегнули поводки от собачьих ошейников. Василий попятился от ринувшихся на него собак. И тотчас почувствовал, как безжалостные собачьи зубы обожгли икру на левой ноге. Второй пес с ходу прыгнул на грудь, Василия словно бревном ткнуло, он упал...

Потом Василий и остервенело ревущие псы катались по утопанному снегу, от ватного пальто летели ключья, под бока, спину и плечи ему словно сыпались крупные раскаленные угли. Василий чувствовал, как пахнет собственная его кровь, понимал, что озверевшие от этого запаха псы, если их не оттащат, заедят его насмерть. Он прикрывал руками лицо и горло, и делал это скорее инстинктивно, потому что в голове все сильнее звенела страшная, предательски соблазняющая мысль: «Пуцай разом перекусят горло, и все... и все... Ведь это просто какая-то секунда...» И все-таки прикрывал до тех пор, пока левая голая ладонь не оказалась в горячей собачьей пасти. Василий еще почувствовал, как острые собачьи зубы вроде откусили пальцы, – и тут сознание разом потухло...

Очнулся он в вонючем лагерном лазарете через трое суток, долго глядел в грязную, облупившуюся штукатурку потолка, пытаясь сообразить, где он и что с ним произошло.

– В счастливой ты рубашке, видно, родился, – сказал ему пожилой костлявый лазаретный санитар. – В машине той какая-то потаскушка ихняя еще была. Она и заверещала: хватит, мол, ее мутит от запаха крови. Они и оттащили псов, а то бы...

– Ты, папаша, русский, значит... Где в плен попал? – спросил Василий.

– Кака те разница, где попал? Допросчик! – хмуро откликнулся санитар. – Спасибо скажи твоему старосте блока. Он тя, поляк долговязый, сюда на свой страх велел своим привести. Помощник коменданта приказал никакой тебе помощи не давать. Русы, грит, живучи, зарастет, как на собаке. Не заросло бы... Узнает если, несдобровать поляку... Ну, раз очнулся, скажу, чтоб в барак тебя счас. Поляка тоже надо пожалеть. Ничего, там доклемаешься. Я буду ночами ходить... Так ничего, мяса фунта с три оборвали с тебя собаки. Мы кое-чего, какие лохмотья висели, прилепили тебе назад их. Отметины, само собой, на всю жизнь останутся на память. Ну а палец, конечное дело, уж не отрастет... Безымянный-то пальчик отъела тебе собачонка.

...Переступая с ноги на ногу, глядя на чугунные ворота с надписью: «Право оно или нет – это мое отечество», на псов с вываленными горячими языками, Василий почувствовал вдруг, как заныла изжеванная собаками левая кисть руки. Именно за эту руку он был и прикован к Назарову. Василий потер ее правой ладонью, сжал в кулак, поднес к глазам и долго его рассматривал, будто видел впервые. Двух фаланг на безымянном пальце не хватало, обрубок не сгибался и торчал, как сучок, кверху.

Рядом тяжело вздохнул Назаров. Василий глянул на него – капитан стоял, уронив голову, тупо глядел вниз, отрешенный от всего. Не один Назаров стоял в такой позе, но обвисшие и скорбные щеки Назарова вызвали почему-то не жалость, а досаду, и впервые вдруг где-то в глубине шевельнулось раздражение на этого человека, его бывшего командира. Кружилин перевел взгляд на Губарева – тот стоял сбоку, спрятав в рукава полосатой куртки посиневшие

<sup>4</sup> Вонючая скотина! Номер!

<sup>5</sup> Семнадцать тысяч триста двадцать четыре, господин гауптштурмфюрер.

ладони, как-то странно выпятив губы, точно хотел свистнуть. Почувствовав на себе взгляд Василия, наклонился к нему и не менее странно произнес полупшепотом:

– Вот послушай, Вась...

И начал вполголоса декламировать:

Горные вершины  
Спят во тьме ночной;  
Тихие долины  
Полны свежей мглой;  
Не пылит дорога,  
Не дрожат листы...  
Подожди немного,  
Отдохнешь и ты.

– Как? – спросил он, кончив декламировать.

– Что?

– Стихи-то? – И Губарев поглядел строго и ожидающе.

– Хорошо. Я их с детства знаю.

– Это очень хорошо. Это «Ночная песня странника» Гёте, величайшего поэта Германии.

– Гёте? Это, по-моему, стихи Лермонтова.

– Лермонтов их перевел только, Вася. Гениально перевел...

С того места, где стояли Василий, Губарев и Назаров, была видна верхушка красной черепичной крыши длинного, видимо одноэтажного, здания, высоко над крышей поднималась квадратная кирпичная труба, стянутая в нескольких местах, через ровные промежутки, железными ремнями. Труба чуть дымила, и люди в полосатых одеждах знали, что это за крыша и что за труба, ибо крематории во всех немецких лагерях почти одинаковы. Чуть дальше виднелось еще несколько таких же труб.

– А я защитил диссертацию по творчеству Гёте, – все так же негромко сказал Губарев, глядя на эту трубу. Потом чуть повернулся направо, долго смотрел поверх каких-то построек на синеватые склоны невысокой горы, густо заросшей деревьями.

И вдруг глаза его набрякли, в свете тусклого дня в них блеснули слезы.

– Валь?! – качнулся к нему Кружилин. – Чего ты?

– Ничего, ничего, – прошептал Губарев. – Я всю жизнь мечтал побывать в Тюрингии... в Веймаре... – Голос его прерывался, заглох совсем, будто горло заткнуло пробкой. Он сделал глоток, проглотил эту пробку. – В городе, где жил великий Гёте...

Василий не понимал, что происходит с Губаревым, не знал, что сказать.

– Ничего... Задавят наши фашистов – и побываешь.

– Уже, уже... – сдавленно прошептал Губарев. – Только что был там, несколько часов назад. Я узнал это место. По репродукциям, по фильмам... Это вот... – Губарев кивнул в сторону. – Это гора Эттерсберг. Она вся заросла дубами и буком. Гёте здесь и написал эти стихи в 1780 году, на стене охотничьего домика, в горах, карандашом... Мы знаешь где? Мы знаешь где? В концлагере Бухенвальд. Бухенвальд – это значит буковый лес...

Василий как-то сразу даже и не мог осознать, что же такое говорит ему Губарев, а потом для этого уже не было времени. По колонне пленных прошло движение, возник было говорок и увял, точно придавленный чем-то. Василий поверх голов увидел, как медленно распахиваются массивные ворота под вышкой – словно челюсть чугунная разверзлась лениво и нехотя.

Автоматчики, которые конвоировали колонну до Бухенвальда, стали по сторонам, все так же держа оружие на изготовку, откуда-то появились эсэсовцы с карабинами и резиновыми дубинками, подняли крик, галдеж, хлопнул где-то сбоку выстрел. Колонна, грохоча по

булыжнику деревянными башмаками, потекла в открытые чугунные ворота, сперва медленно, потом все быстрее. Но эсэсовцы орали свое: «Шнель, шнель!», колотили крайних прикладами и дубинками. Каждый заключенный, чтобы избежать ударов, пытался забиться в середину колонны, побыстрее втиснуться в ворота. Люди давили друг друга, некоторые падали, их топтали бегущие сзади. Еще донеслось сбоку два или три выстрела, треснула негромко, заглушенная грохотом башмаков, автоматная очередь.

– Сволочи! – выкрикнул Василий, плечо в плечо бежавший с Губаревым и Назаровым.

– Тише ты! – обернулся к нему на ходу Губарев, кивнул на цепь: – Услышат – и сразу пуля!

У самого жерла ворот Василия, Назарова и Губарева стиснули так, что у всех захрустели кости, и они уже не сами вбежали туда, тупая и неостановимая сила протолкнула их внутрь лагеря, и первое, что Василий увидел, была виселица. Она стояла одиноко и злоеюще на пустынном плацу чуть слева, неподалеку от ворот, несильный ветер раскачивал пустую петлю. Василий не удивился, увидев виселицу, – они были почти в каждом лагере. Василий знал, что веревочную петлю на этой виселице, как и на всех других в немецких лагерях, давно не надо намыливать – от частого использования веревка насквозь пропиталась человеческим жиром, залоснилась, была гладкой и скользкой, как налимье тело. Он только подумал, что если их погонят сейчас направо, к крематорию, то это могут быть их последние шаги на земле.

Их погнали направо. Василий, чувствуя тупую боль в сердце, только беспомощно оглянулся на Губарева, затем поглядел на Назарова. Тот бежал, глядя, как всегда, в землю, а Губарев повернул к Кружилину худое, окрашенное предсмертным, землистым цветом лицо.

– Кажись, все, Вася, – мотнул он головой в сторону крематория и болезненно дернул сухими губами.

– Не-ет! – с неожиданным самому себе упрямством и злостью на кого-то закричал что было сил Василий. – Я счастливый, понятно-о?!

Крик его потонул все в том же грохоте деревянных башмаков по камням.

\* \* \*

Поликарп Матвеевич Кружилин наскоро закрыл заседание бюро райкома, отпустил всех, кроме парторга ЦК ВКП(б) на заводе Савчука, председателя райисполкома Хохлова, встал из-за своего стола, шагнул к дивану, на котором вот уже минут пять лежал неподвижно Федор Федорович Нечаев. На ходу он взял ближайший стул, поставил возле дивана, сел. Глаза директора завода были прикрыты, веки чуть подрагивали, большой лоб в крупных каплях пота.

– Извините, Поликарп Матвеевич, – слабым голосом, произнес Нечаев, не открывая глаз. – Вы извините меня.

– Сейчас придет врач, Федор Федорович.

– Это вы напрасно... Не надо врача. Я себя знаю, ничего страшного.

После аварии на заводе Нечаев чуть ли не полгода лежал в больнице, сперва в Шантаре, потом в Новосибирске, никто уже не надеялся, что он выкарабкается из могилы. Но он сумел встать на ноги, был назначен вместо погибшего Антона Савельева директором завода. Внешне он выглядел более или менее сносно, и первое время никто не догадывался, что его частенько скручивают и валят с ног приступы удушья и что его секретарша Вера Инютина, где-то в середине еще прошлого года уволившаяся из райкома и поступившая на завод, иногда по целым часам возилась с ним в кабинете. Она поила директора какой-то микстурой, всегда стоявшей в ящике его стола, клала холод на голову, иногда по его просьбе массировала худую, жиденькую грудь со страшными шрамами от ожогов.

Нечаев строго-настрого запретил ей сообщать кому бы то ни было, даже собственной жене, о его болезни.



Но в марте нынешнего года Нечаев, никому ничего не объясняя, освободился от своей слишком уж заботливой секретарши, перевел ее в систему заводского ОРСа, а на место Веры взял Наташу Миронову. Новая секретарша при первом же головокружении у Нечаева подняла на ноги весь райком партии, партком завода и весь заводской медпункт.

– Не смей! – приподнялся он было с дивана, когда Наташа у него в кабинете кинулась к телефону. – Холодное полотенце лучше на голову дай... Обратю в столовую прогоню!

– Это дело ваше! – резко проговорила Наташа. – Я не сама к вам в секретари напросилась...

Нечаев тогда потерял сознание, а когда очнулся, в кабинете находились Кружилин, Савчук, несколько врачей.

Это был первый случай, когда он потерял сознание. А затем приступы следовали один за другим; иногда его схватывало прямо где-нибудь в цехе, прибегали из заводского медпункта врач с санитарями, уносили оттуда на носилках замертво.

– Надо капитально подлечиться, Федор Федорович, – заявил в конце концов Кружилин, видя, что дело может кончиться плохо.

– Да? А завод?

– Что ж завод?.. Дело идет о вашей жизни или смерти.

– Нет, я здоров. Это – так...

Кружилин посоветовался по телефону с Субботиным, тот немедленно отреагировал на тревожные слова секретаря райкома, прислал из Новосибирска старичка профессора, известное на всю страну светило медицинской науки, в клинике которого Нечаев лежал после пожара.

– Денег девать некуда вам с Субботиным, так хоть на путешествие этого профессора истратить, – дернул только Нечаев своей куцей бородкой. – Он и без того знает, что я здоров.

Приезжий профессор несколько дней возился с Нечаевым, на прощанье выпил у него дома несколько чашек чая и вместе с ним же пришел в райком партии.

– Федор Федорович абсолютно здоров, – огорошил он Кружилина.

– Вот, – торжествующе сказал Нечаев.

– Но процентов, знаете... ну, тридцать не тридцать, а процентов двадцать кожи и мяса на костях у него сгорело. И сейчас организм просто не справляется, знаете ли... чихает, как мотор, когда кончается бензин.

– Вот, – опять произнес Нечаев, но теперь уныло, с обреченной усмешкой.

– Что вот? – сердито вскрикнул старичок профессор. – Удивительно не то, что сейчас не справляется, – удивительно, как вы, любезнейший Федор Федорович, вообще обманули смерть.

– С вашей помощью, дорогой профессор, – буркнул Нечаев.

– С моей? Нет-с и нет-с. И сейчас я, собственно, приехал еще раз на вас взглянуть из любопытства. Я не знаю, не могу понять: почему, откуда и какие у вас жизненные силы? А уж поверьте, в медицине, в человеческом организме я немного разбираюсь.

– Что же вы посоветуете, профессор? – спросил Кружилин.

Старичок, худенький, седенький, снял очки, подслеповато сощурился, глядя поочередно то на Кружилина, то на Нечаева, протер носовым платком глаза и снова надел.

– Видите ли, молодые люди... Я советую ему работать, как работал. Федора Федоровича я предупредил – конец может наступить в любой день, в любую минуту... Но если оставить привычный ритм жизни, все эти заботы – кто знает, не наступит ли она еще раньше?! Да, кто знает... Жизнь суть движение, постоянная работа мышц, мозга, определенное состояние психики. Если еще популярнее вам сказать, всякий механизм в бездействии быстро ржавеет... Пейте, Федор Федорович, мою микстуру, я туда ввел некоторые новые компоненты...

Но микстура старичка профессора помогала все меньше. Нечаев сваливался с ног все чаще, синел, хрипел и надолго терял сознание. Придет ли он в себя после очередного приступа,

никто сказать не мог. Никто, естественно, не мог знать, какой приступ будет последним, но все видели и понимали, что Федор Федорович Нечаев умирает.

Сегодня приступ случился во время его выступления на бюро райкома партии. Обсуждался – в который уже раз! – вопрос о жилье для рабочих завода. Два года идет война, и два года этот проклятый вопрос не сходит с повестки дня. Вокруг завода, там, где раньше была степь и гулял на свободе ветер, вырос целый бревенчатый город, на главной улице возвышалось десятка полтора, небольших, правда, двухэтажных кирпичных зданий. Но около тысячи человек все еще жили в землянках. Правда, это были не те люди, что прибыли в Шантару осенью 1941 года. Завод расширялся, постоянно осваивал новые виды оборонной продукции. Сначала выпускал одни артиллерийские снаряды малых калибров, но постепенно переходил на более крупные. Завод находился по-прежнему в ведении Народного комиссариата боеприпасов, но год назад, вскоре после пожара на заводе, появилась в Шантаре группа работников Народного комиссариата минометного вооружения с соответствующими полномочиями и распоряжениями Москвы организовать на заводе производство минометов и мин. Кружилин, привыкший уже к невозможному, нисколько не удивился, только заинтересовался, будут ли еще прибывать рабочие.

– А как же, – ответили ему. – И специалисты, и рабочие, и кое-какое оборудование. Как с жильем?

– Нормально, – сказал Кружилин ровно и спокойно, ибо что-то другое говорить было бесполезно, возражать, жечь нервы бессмысленно, как бессмысленно осенью протестовать против наступления зимы. Зима все равно наступит, небо не закроешь, и в положенный срок сверху повалит снег. В определенное время приедут и новые сотни, а то и тысячи рабочих, и надо их как-то принимать, устраивать. И они приезжали, их принимали, устраивали, завод давно выпускает и минометы, и мины к ним. Как все это получалось, Кружилин Поликарп Матвеевич не знал, не понимал. И очень даже удивился, когда нынешней весной «за успешное выполнение специального задания правительства по разработке и изготовлению новых образцов боеприпасов» был в числе других награжден орденом Ленина. Так было сказано в указе – значит как-то это получалось, выходит...

Нечаев дышал тяжело, жиденькие волосы на голове тоже смокли, висели сосульками.

Савчук, пристроившись у изголовья, беспрерывно и молча вытирал большой выпуклый лоб Нечаева носовым платком.

– Спасибо, Игнат Трофимович... Спасибо, – говорил директор завода Савчуку, человеку немногословному и в общем суровому, но сейчас в его темных глазах были боль и нежность.

Кружилин глянул на парторга и тотчас отвернулся, подумав, что если в глазах Савчука проступит влага, то это будто вроде и удивительно, а ведь, собственно, удивляться нечему, как бы у него у самого не блеснули слезы. Черт, подумал еще Кружилин, как мы мало знаем друг о друге, – что вот он, Кружилин, знает о Савчуке? И как мало в этой беспросветной жизни проявляем заботы друг о друге. Только недавно он, Кружилин, узнал, что сам-то Игнат Трофимович с женой и двумя детьми-школьниками до сих пор живет в землянке.

– Ка-ак?! – удивился Кружилин, в самом деле искренне не понимая, как же так получилось: ведь ему, помнится, выделялась где-то даже двухкомнатная квартира.

– А что? – Савчук спокойно поглядел на секретаря райкома.

– Тебе ж выделяли жилье!

– Я отдал квартиру одному старичку, мастеру механического цеха. Это гениальный старик... У него дочка туберкулезная.

– Это... это непорядок! – вымолвил Кружилин зло, с раздражением. – Нашелся филантроп! Старичка бы тоже не обидели.

– Какой там непорядок? – так же просто и мягко произнес Савчук. – Сейчас непорядок, может, и есть самый высший порядок... Из землянок я уйду последним.

– Это уже, извини, глупо.

– Может быть, – холодно сказал Савчук и отвернулся, давая понять, что разговор ничемный и продолжать он его не намерен.

Кружилин где-то в душе долго был обижен, что Савчук тогда, осенью сорок первого, жестоко отхлестал его на первом суматошном, непродуманном совещании в райкоме партии по вопросу сроков пуска завода. Он пригласил людей посоветоваться, что же делать, отправлять ли в обком партии нереальный, как он считал, график восстановления только что прибывшего завода, а Савчук высмеял при всех его беспомощность и потребовал объяснить, когда будут стройматериалы, жилье, когда дети рабочих завода пойдут в школы. Не скоро понял Поликарп Матвеевич жесткую правоту этого человека, правоту, вызванную обстоятельствами. И когда ЦК утвердил его парторгом завода, воспринял это без энтузиазма, скорее из чувства дисциплинированности. Потом увидел и понял, что малоразговорчивый, внешне неторопливый этот человек обладает ясным умом, непреклонной волей, он всегда знает, чего хочет. Не одобрял он только этой его сверхскромности. Но тот короткий разговор о квартире как-то вдруг открыл душу Савчука больше, чем все эти долгие и кошмарные месяцы. А теперь вот выражение глаз, носовой платок в жилистой, худой руке, которым он молча и беспрестанно вытирает пот со лба и щек Нечаева, сказали до конца о том, что этот украинец из той же породы, что и покойный Антон Силантьевич Савельев, что и Нечаев, и Хохлов. Только у каждого из них своя суть и свой характер.

– Я вот что думаю, – с трудом заговорил Нечаев с дивана. – Я это и хотел сейчас на бюро сказать... Что там наши рабочие, в тайге, делают? Грибы, что ли, собирают? По ягоды ходят? Пора, наконец, кончать с землянками. Лесу-то нам еще требуется всего ничего, кубометров с тысячу. Ну, может, чуть больше... Надо к концу июля лес заготовить полностью, как хотите... И сплавить сюда. Ведь подумать только, как нам повезло, – река! Несколько дней – и древесина здесь... Распиленная. Пилить, пилить, прямо на месте. Поезжай туда сам, Игнат Трофимович. Я понимаю, ты только что вернулся из Москвы, у тебя на заводе дел накопилось. Но это для нас сейчас самое главное. Мы тут без тебя ничего... Я оклемаюсь вот... Поезжай. Возьми пилющих, сколько надо. Слесарей бери, токарей снимай со станков. Бери кого хочешь, я разрешаю... К зиме ни одного человека чтоб в землянке не было. Тебя последнего я лично приеду выселять. Надо бараки из плах строить, засыпные. Мы сделали ошибку, построив много барачков из бревен. Расточительство в наших условиях. Поезжай...

– Хорошо, Федор Федорович, – негромко сказал Савчук.

– Ну вот, – облегченно вымолвил Нечаев. – Ты все это сможешь... И вообще – что бы завод, что бы я делал без тебя?

– Ну уж...

– Нет, я знаю.

Длинная речь заметно утомила Нечаева, с каждым словом пот выступал все обильнее, под конец грудь директора затряслась, он кашлянул и захрипел. Потом голова его свалилась легонько набок. Хохлов, молча стоявший у окна, сделал несколько шагов к дивану и испуганно замер. Кружилин стремительно поднялся. Только Савчук не шевельнулся, все продолжая мокрым уже платком вытирать с лица Нечаева испарину. Потом взял руку, пощупал пульс.

– Потерял сознание!.. Где же врач?

И в это время внизу, на первом этаже, хлопнула входная дверь, затопало по лестнице множество ног. Первой в кабинет вбежала жена Нечаева, еще не старая, красивая женщина с измученными глазами, простоволосая и растрепанная. «Федя! Федя!» – вскрикнула она, рванула ворот его рубашки и, плача, принялась растирать ему грудь. За ней мелькнула Наташа Миронова, опустилась перед диваном на колени, всхлипнула.

– Ты что?! – зло крикнула на нее жена Нечаева сквозь слезы. – Перестань скулить! Намочи полотенце... Есть тут какая-нибудь тряпка?

Наташа вскочила и побежала из кабинета, на ходу сдергивая косынку. У дверей она чуть не столкнулась с врачом заводского медпункта. Врач, женщина лет сорока, чем-то похожая на жену Нечаева, на ходу раскрыла медицинский свой баульчик, опустилась, как Наташа до этого, на колени перед диваном. В руках у нее был уже шприц, она сделала укол в худую руку Нечаева... А в кабинете уже гремели, раскладывая носилки, двое санитаров.

Через несколько минут директора завода, так и не пришедшего в сознание, унесли. До дверей с одной стороны носилок шла, вытирая мокрые щеки, его жена, с другой – врач в белом халате, а сзади всех Наташа. Потом сзади оказалась жена Нечаева, она, прежде чем скрыться за дверью, обернулась вздохнула:

– Боже мой, боже мой... А вам спасибо.

Неизвестно, за что она поблагодарила их, трех крепких и здоровых мужиков, и от этой благодарности всем стало неловко, все почувствовали какую-то великую обязанность перед Нечаевым, его женой, перед этим ярким, солнечным июньским днем, полыхающим за окном...

Потому, может быть, в кабинете стояла некоторое время неловкая тишина, а Сталин в полувоенной, полугражданской своей форме строго глядел с портрета над столом, и его сухой и усталый взгляд стерег эту тишину.

– Ах, как это несправедливо! – хрипло выдавил наконец Хохлов.

Ему никто не ответил. В кабинете стоял резкий запах лекарства, Кружилин почувствовал его только что, после этих слов председателя райисполкома.

– Да, дело плохо, – кивнул Кружилин, пошел к столу, но не сел на свое место, остановился. – Дело все хуже. Я вас, собственно, оставил, чтобы посоветоваться. Завод не может сейчас и неделю жить без руководителя... Надеюсь, вы меня правильно понимаете? Мы должны быть готовы...

Кружилин говорил трудно, сбивчиво, не глядя на Хохлова и Савчука. Но чувствовал, как парторг сурово поджал сухие губы, а Хохлов неловко глядел в окно.

– Я лично давно готов, – проговорил Савчук негромко и невесело. – И если что, я рекомендовал бы на должность директора завода Ивана Ивановича... вот его.

Хохлов, примостившийся было на подоконнике, сполз с него, заморгал быстро глазами.

– Что-с?

– Ну что же... – раздумчиво произнес Кружилин.

– В Новосибирске и в Наркомате, я думаю, с нашей рекомендацией согласятся.

– Нет, позвольте, позвольте! – Иван Иванович торопливо подбежал к столу, не сообщая, видимо, что делает, взял стопку папок и бумаг, лежавших с краю, приподнял их, будто хотел этими бумагами сердито хлопнуть по зеленому сукну, но передумал в последнюю секунду и осторожно положил на место. – Я вот все удивляюсь недоразумению, в результате которого я хожу в председателях исполкома. Не делайте еще одной нелепости...

– А я – так рад, что это недоразумение произошло, – чуть улыбнулся Кружилин.

– Да?! – И Хохлов опять заморгал часто и покраснел. – Вы все подшучиваете надо мной? Рядовым инженером – пожалуйста. Я сам просился.

– Рядовым я тебя не отпущу, – сказал Кружилин. – Ладно, кончим пока об этом.

– Поразительно! – пробормотал Иван Иванович. – Очень, знаете, поразительно! Вы серьезные люди?

На это Хохлову никто ничего не ответил. Савчук и Кружилин, за два военных года как-то осевший, заметно ссутулившийся, думали каждый о своем.

– Ну что ж, Поликарп Матвеевич, – вздохнул наконец Савчук, – пожалуй, дня через два я выеду в тайгу.

Кружилин кивнул, соглашаясь. Савчук, хмурый, пошел было к двери, но вдруг остановился, улыбнулся чему-то широко и светло, так светло, что Кружилин спросил нетерпеливо и ожидающе:

- Ну?
- Это удивительно... А я забыл сказать... Вы знаете, кого я встретил в Москве, в Наркомате? Ни за что не угадаете.
- Почему же? – буркнул Хохлов. – Нашего милиционера Елизарова в роли наркома.
- Отца нашей Наташи.
- Кого-кого? – Кружилин высоко вскинул брови.
- Генерала Миронова. Отца Наташи, – повторил Савчук. – Он там работает заместителем начальника главка.
- Вот как! Наташе сообщил?
- Да ведь телефон, телеграф есть. Наверное, они давно друг друга телеграммами засыпали...

\* \* \*

Теплый дождь, хотя и робкий, негустой, накрапывал с самого утра, обмывал крыши и деревья. Он снимал с изнуренной зноем земли усталость и молодил ее, возвращал ей первозданную красоту и свежесть, и все видели, что земля, как и прежде, юна и прекрасна.

Во всяком случае, об этом думал Поликарп Матвеевич Кружилин, шагая по шантарской нелюдной улице в ту сторону, где стоял домик вдовы Антона Савельева. Он шагал и чувствовал, как теплая и благодатная влага проникает сейчас в каждую пору земли, производит там свое оплодотворяющее священнодействие, почти физически ощущал, как в лощинах, сырых балках, над рекой и в дебрях леса зарождаются свежие, пахнущие небом туманы и, растекаясь, плотно закрывают землю, и именно под этим покровом и происходит извечное и никому не понятное таинство возникновения живого.

Из переулка вынырнула, как стайка воробьев, ватага босоногих, перемокших мальчишек, пронеслась, шлепая по дождевой луже, мимо Кружилина как раз в тот момент, когда Поликарп Матвеевич обходил ее, окатив его брызгами. «Вот сорванцы», – беззлобно подумал он, и на миг возникли перед ним глаза сына, глаза Васьки, сгинувшего бесследно, сторевавшего где-то в безжалостном пекле войны. Глаза эти были беспомощно-незащищенными, они будто бы с тоской спрашивали: что ж ты, отец, как же ты допустил и смирился, что я погиб, что никогда не будет меня больше на земле? А ведь я вот так же любил бегать под дождем по лужам, любил дышать вот таким влажным и теплым июльским воздухом.

Поликарп Матвеевич, чувствуя тупую боль в сердце, проникающую куда-то все глубже и глубже, остановился, одной рукой ухватился за чей-то штaketник, другой расстегнул пуговицу френча, сунул под него ладонь, начал поглаживать сердце. «Ах, Вася, Вася! Сынок... Хотя бы кто сказал, где косточки твои лежат».

И глаза его, уже давно оплетенные сеткой морщин, заблестели.

Откуда ж было знать Поликарпу Матвеевичу, что сын его Васька пока жив, что он находится в Бухенвальде, – концентрационном лагере неподалеку от благословенного города Веймара, что полчаса назад он, подгоняемый плетью некоего Хинкельмана, пьяного и рослого эсэсовца в чине гауптшарфюрера, начальника рабочей команды лагерной каменоломни, влез на молодую пятиметровую ель и под его визгливую ругань раскачивается сейчас на самой верхушке дерева. Это было одно из любимых развлечений вечно пьяного Хинкельмана. Он загонял несчастных обыкновенно на деревья, которыми было обсажено одноэтажное, двухсотметровой длины здание, похожее на конюшню, расположенное неподалеку от зловещей каменоломни, и заставлял их раскачиваться на верхушках до тех пор, пока они от головокружения или обессиленные не срывались оттуда, ломая руки, ноги и позвоночники. Дальнейшая их судьба зависела от степени увечья. Если заключенный ломал позвоночник, Хинкельман или капо рабочей команды каменоломни, некий Айзель, тоже пьяница и к тому же гомосексуалист,

присутствовавший обычно на развлечениях своего начальника, тут же его пристреливали, а труп велели отволочь в крематорий. Если была сломана рука или нога, заключенного могли отправить, после побоев, в больничный барак... И еще судьба сорвавшегося с дерева зависела от каприза, от настроения этого Хинкельмана. Вместо больничного барака он мог плетью указать на входную дверь этого длинного здания, похожего на конюшню. Но это была не конюшня, а специально оборудованное помещение для убийства выстрелом в затылок. Василий это уже знал и, раскачиваясь под нещадным в этот день бухенвальдским солнцем на верхушке ели, урывками вытирал едкий пот с лица, прикидывая, сколько времени он еще может продержаться на дереве и что сделает Хинкельман, как только он сорвется с дерева, – пристрелит, отправит в лазарет или в это здание, похожее на конюшню? А сорвется скоро, вот уже в голове все плывет, мешается и начинает подташнивать...

...Поликарп Матвеевич усилием воли заставил себя не думать о судьбе сына – он умел, научился это делать, – постоял еще несколько секунд возле забора и пошел дальше. Он думал теперь о том, что ему и самому хорошо бы съездить в тайгу и поглядеть, как там заготавливают древесину, но сделать это будет невозможно. Надо ему сейчас, за предстоящую неделю, объехать весь район, еще и еще раз поглядеть, где и что с посевами, как люди готовятся к уборке. Сиротская, кажется, нынче уборка будет. Весной не было ни одного дождя, яровые почти посохли, оживит ли их этот дождичек? Хилый он, негустой, разошелся бы! Ах, если бы хоть и такой побрызгал пару недель назад! А план хлебосдачи невиданный. Иван Иванович Хохлов похудел нынче с этим планом. Добрый он мужик, еще, правда, малоопытный и стесняющийся как бы своей должности, но жаль, жаль будет, если его придется отдать на завод. Но что же делать, Нечаев сильно плох... Да, план хлебосдачи... И чувствует он, Кружилин, план этот будет еще увеличен. Кажется, Иван Михайлович Субботин уже поглядывает на телефон, чтобы сообщить об этом Кружилину... А что сдавать, вырастет ли нынче что?

Подойдя к маленькому домику, где жила Елизавета Никандровна с сыном, счищая грязь с сапог, Поликарп Матвеевич подумал еще, что вот уже почти три месяца – апрель, май и июнь – на всех фронтах стоит относительное затишье, сводки Информбюро, все три месяца скупые и короткие, сообщали в основном о незначительных боях и стычках. В публикациях Совинформбюро примелькались фразы, что повсюду «шли бои местного значения» и «за последние сутки на всех фронтах существенных изменений не произошло».

Не произошло, но вот-вот должно произойти, думал Кружилин, тщательно выскребывая подошвы сапог о прибитую возле крыльца железку. Этого ждут все, это носится в воздухе. Панкрат Назаров, рассказывал как-то Хохлов, предполагает, что «это начнется» не раньше чем в июне, к концу... Что ж, тоже стратег, все сейчас стратеги. Но вот и июнь прошел, идет третий день июля, а все тихо. Как он там, Панкратушка? Заглянуть надо и к нему будет!

Только через сутки с небольшим Кружилин убедится, что старый Панкрат Назаров ошибся в своих предположениях всего на несколько дней, что ранним утром пятого июля тишина эта на всех фронтах оборвется, две гигантские мировые силы, олицетворяющие на нашей планете свет и тьму, добро и зло, опять сойдутся в очередной смертельной схватке и под Курском, Орлом и Белгородом развернется битва, не имевшая себе равных прежде и которая не будет иметь равных до конца войны, что пятьдесят дней и пятьдесят ночей будут гореть воздух и земля, что с обеих сторон в этой невиданной битве будет участвовать в общей сложности более четырех миллионов человек, большая часть которых там и поляжет. Кружилину, рядовому секретарю сельского глубинного райкома партии, не было и не могло быть ведомо, что Гитлер еще 15 апреля, стремясь взять реванш за Сталинград, отдал оперативный приказ № 6, в котором провозгласил: «Я решил, как только позволят условия погоды, провести наступление "Цитадель"». Этому наступлению придается решающее значение. Оно должно завершиться быстрым и решающим успехом. Наступление должно дать в наши руки инициативу на весну и лето текущего года. В связи с этим все подготовительные мероприятия необходимо прове-

сти с величайшей тщательностью и энергией. На направлении главных ударов должны быть использованы лучшие соединения, наилучшее оружие, лучшие командиры и большое количество боеприпасов... Победа под Курском должна явиться факелом для всего мира...»

Говоря другими словами, Гитлер намеревался двумя мощными ударами на Курск – из района Орла и из района Харькова – окружить и уничтожить советские войска на Курском выступе, а потом и разгромить советские дивизии и армии в районе Донбасса.

И не мог знать, конечно, Поликарп Матвеевич Кружилин в тот день, что войска уже изготавились к схватке, что немцы в соответствии с приказом № 6 заняли исходные позиции к наступлению и только ждут команды ринуться в битву, а советские войска полностью готовы к обороне, что ранним утром пятого июля, упреждая начало немецкого наступления, загрохочут десятки тысяч пушек Воронежского и Центрального фронтов, перемалывая фашистскую живую силу и технику, и что Курская битва действительно явится «факелом для всего мира», но только факелом, при свете которого все увидят: фашистская армия выдохлась, на крупные наступательные операции она больше не способна, а Красная Армия бесповоротно закрепила инициативу в своих руках, и давно уже положено начало бесславного конца не только Восточной кампании Гитлера, но и фашизма вообще. Он, Кружилин, ничего этого не мог еще знать и был озабочен только судьбой нынешнего урожая, подготовкой к уборке, озабочен заводом, жильем для рабочих, здоровьем Нечаева, состоянием Елизаветы Никандровны Савельевой, жены Антона, к которой и шел сейчас, после ее тревожного звонка, и еще тысячей и тысячей дел, больших и малых, без исполнения каких достиг бы, возможно, цели оперативный приказ Гитлера № 6 или другие подобные приказы, достигла бы успеха операция «Цитадель» или другие подобные операции...

Елизавета Никандровна встретила Кружилина в кухне, всплеснула обрадованно худыми руками, кинулась раздевать.

– Ничего, я сам...

– Ах, боже мой, Поликарп Матвеевич! Как я благодарна вам, что вы зашли! Вот сюда садитесь, я вас чайком напою.

Кружилин сел за кухонный стол, огляделся. Он не был здесь давно, пожалуй, с весны, когда и без того хлипкое здоровье Елизаветы Никандровны стало особенно плохим, сердечный приступ следовал за приступом и однажды мартовской ночью она чуть не скончалась. Тогда-то он и был тут. Но потом ей неожиданно стало легче, сердечные приступы не возобновлялись.

В кухоньке ничего не изменилось со дня похорон Антона, вернее, с того дня, когда Кружилин впервые побывал тут, приглашенный вместе с Нечаевым и Хохловым на ужин, во время которого впервые встретились три брата – Антон, Иван и Федор. Сколько времени прошло с того вечера! Антона самого нет в живых, Нечаев тоже вот-вот... Иван и Федор на фронте, вернутся ли, живы ли? С Иваном пока вроде все нормально, воюет, а Федор... Ушел – и будто в воду канул, ни одного письма домой. Кружилин этому как-то не удивлялся, и Анна, кажется, тоже. «Да живой, должно, чего ему... сделается...» – сказала она однажды при случайной встрече. И Кружилин почувствовал, что писем от мужа она не ждет, они ей не нужны, а если бы письмо пришло, никакой радости оно ей не принесло бы... А здесь, в крохотной квартирке Савельевых, все так же. Тот же маленький посудный шкафчик, тот же горшочек с цветами на подоконнике. Даже, кажется, тот же половичок на полу, только более потертый...

Сама Елизавета Никандровна вот не та. Она до предела усохла, сделалась маленькой, невесомой, волосы, ослепительно белые, поредели. Когда-то угольно-черные, длинные, как крылья, брови сейчас тоже поседели. И лишь глаза ее, большие и зеленоватые, горели на худом лице двумя яркими пятнами, освещая и одухотворяя его. В глазах была жизнь не затухающая, а возрождающаяся, в них светилось какое-то детское изумление, как у ребенка, для которого в первый раз открывается непонятный пока и удивительный мир.

Поликарп Матвеевич все это отметил в одну секунду, внутренне обрадовался и теперь, наблюдая, как Елизавета Никандровна заваривает чай, с тихой грустью думал о судьбе, выпавшей на ее долю. В голову ему пришла, может быть, ненужная в этот момент мысль: неужели это ее, эту вот худую и немощную женщину, жестоко, безжалостно пытали когда-то во вражеском застенке? И как она все выдержала, ничего не открыв, никого не выдав палачам, где брала силы? И только когда начали истязать на ее глазах малолетнего сына, разум у нее помутился. Помутился, но ведь... и в таком состоянии она никого не выдала, не назвала ни одного человека. Значит, где-то в глубине мозга был такой замок, который никогда, никому и никакими пытками было не открыть.

– Вы извините, Поликарп Матвеевич, что я вас не в комнате угощаю, – проговорила вдруг она. – Там Юрий спит после смены.

– Ну что вы! Какие, право, пустяки.

Пытки унесли ее здоровье, думал далее Кружилин, она была не в состоянии нигде работать, не могла больше рожать, но, как говорил Антон, она ни разу не пожаловалась на свою судьбу. И когда погиб Антон, она, сама находясь на краю могилы, тоже ведь ни разу никому не пожаловалась, ни у кого не попросила ни помощи, ни участия. И только сегодня позвонила в райком и сухим, сдавленным голосом попросила принять ее.

– Мне очень нужно... Вы должны помочь мне. Мне надо безотлагательно.

– Хорошо, Елизавета Никандровна. Я сейчас сам зайду к вам.

– Ну спасибо. Я тогда чай поставлю.

Он отложил все дела и вышел из райкома обеспокоенный. «Что же случилось? Какая ей нужна помощь?» И у него отлегло от сердца, когда он увидел живой блеск ее глаз.

Разливая чай, Елизавета Никандровна задавала ровным и тихим голосом обычные вопросы о положении дел в районе, на заводе. Кружилин отвечал, она выслушивала внимательно, кивала головой. Спросила вдруг, нет ли каких известий о его сыне – Поликарп Матвеевич ответил, что нет и ждать теперь бессмысленно, Василий где-то погиб.

– Какой вы счастливый человек! – воскликнула она.

Кружилин невольно вскинул брови. Елизавета Никандровна уныло и бессмысленно глядела в сторону, в окно. Поликарп Матвеевич почувствовал, как шемит его сердце от мысли, что нет, Елизавета Никандровна не оправилась от свалившихся на нее потрясений и что возрождающийся свет в ее глазах одна видимость, вот он и потух.

Она вздохнула, села, пододвинула чашку с чаем к Кружилину.

– Ну, пейте. А потом я вам изложу свои просьбы. Их всего две, очень небольшие.

Ее вздох, ее движение и эти слова опять были осмысленными, нормальными. И Поликарп Матвеевич не знал, что и думать.

Чай они пили молча. Елизавета Никандровна будто забывала о своей чашке, двигала седыми бровями, чуть приметно вздыхала. «Если все-таки она оправилась, что в общем-то невероятно... значит, в ней идет какая-то борьба, – думал Поликарп Матвеевич, наблюдая тихонько за ней. – И что-то ее мучает. Что?»

– Так я слушаю, Елизавета Никандровна, – сказал он, отодвигая чашку. – Спасибо большое за угощение. Я готов, если в моих силах, оказать любую помощь.

– В ваших, – улыбнулась Елизавета Никандровна. – Я чуть... я чуть не отправилась вслед за Антоном в могилу. А зачем?

– Действительно, не к чему, – осторожно поддержал Кружилин.

– Вы можете верить, можете – нет, но когда я спросила себя: «А зачем?» – у меня вдруг начали прибывать силы. Что-то в мозгу проясняться начало... Ради него, Антона, ради сына надо жить. Антона не вернешь... И ради своего отца. Вы знаете, мой отец погиб на царской каторге. Его застрелили во время побега из Александровского централа.

– Мне рассказывал Антон.



- Антон... – Она вдруг всхлипнула.
- Ну, ну, Елизавета Никандровна!..
- Простите, – проговорила она, вытирая глаза.

Немного помолчав, вдруг спросила:

- Где сейчас Полипов Петр Петрович? Бывший председатель райисполкома?

Кружилин ответил не сразу. Он, глядя в посветлевшие, начавшие вдруг отдавать холодком глаза Елизаветы Никандровны, пытался сообразить, почему она вдруг задала такой вопрос, пытался уловить смысловую связь всего этого в общем-то беспорядочного разговора. Но не мог, хотя теперь уже чувствовал, что она, эта смысловая нить, существовала. А в том, что разум Елизаветы Никандровны в полном порядке, был теперь твердо уверен.

– Он, кажется, редактор какой-то военной газеты. И, кажется, где-то в глубоком тылу. Я как-то спрашивал у Полины Сергеевны, его жены. Такое что-то она мне сказала. Вы знаете Полину Сергеевну? Она работает заведующей библиотекой...

– Да, он где-то в армии, Полипов, – проговорила Елизавета Никандровна, не отвечая на его вопрос. – Ах, товарищ Кружилин, товарищ Кружилин...

Она умолкла, задумавшись, и Кружилин ее не тревожил, ожидая дальнейших слов.

Дождь за окном, кажется, кончился, утих, весело затрещали воробьи, неугомонные маленькие птицы, может, и глупые, но без которых жизнь на земле была бы намного беднее. Воробьи в представлении Кружилина всегда были связаны с появлением солнца, их беспорядочный крик по утрам был особенно яростен на солнцевосходе. И вот сейчас Кружилин ждал появления солнца, и точно, через минуту, а может, и меньше тугие солнечные лучи проломили где-то облака, ударили по стеклам и желтыми пятнами обрызгали побеленную стенку за спиной жены Антона, растеклись по крашеному полу.

– Он где-то в армии, – повторила Елизавета Никандровна резко, глянула на Кружилина почти враждебно. – А вы знаете, он... – Голоса у нее не хватило, она задохнулась и, сильно вытянув шею, глотнула воздуха. И вдруг воскликнула резко: – Это он выдавал Антона царской охранке! Он, он!

Последние два слова она выкрикнула истерично, маленькое лицо ее пошло пятнами, щеки и губы затряслись. Поликарп Матвеевич, вспомнив, как били ее сердечные припадки, встревоженно поднялся. А она в эту же секунду осела, упала на стул, худенькие плечи ее мелко тряслись.

– Успокойтесь, Елизавета Никандровна! – Он неловко, неуклюже подошел к ней. – Очень прошу вас. Не надо...

Она, рыдая, взяла полотенце со стола, прижала к глазам.

– Хорошо. Вы не беспокойтесь... Не беспокойтесь.

Плечи ее еще вздрагивали, но Кружилин по каким-то неясным и необъяснимым для себя признакам понял, что это не сердечный припадок, что ничего худого не случится.

– Вы поняли, что я сказала? – негромко спросила она.

– О Полипове?

– Да, о нем. Он был хитрым провокатором!

– Но... Елизавета Никандровна... как это доказать? У вас есть что-нибудь?

Подбирать слова Кружилину было трудно.

– Доказательства! Ах, боже мой, какие теперь могут быть доказательства?! – проговорила она, вытирая полотенцем глаза, но относительно спокойно.

– Да, конечно, – вымолвил Кружилин, не то соглашаясь с ней, что доказательств за давностью лет быть не может, не то упрекая ее за горячность и необдуманные слова. – Вот видите.

– Нет, я знаю... Впрочем, вам, конечно, странно такое вообще услышать. Вы же не знаете... ничего. Как мы жили и боролись...

– Почему же? Хотя, конечно, очень мало. Из рассказов Антона Силантьевича, Субботина...

Елизавета Никандровна вздохнула, положила полотенце себе на колени.

– Нет у меня никаких доказательств, Поликарп Матвеевич. Но я уверена... Тогда, до революции, едва Антон оказывался на воле, его местонахождение быстро становилось известным царской охранке. И его брали всегда неожиданно, быстро, его находили даже в таких местах, о которых, как говорится, ни одна собака не знала... Но как-то же его находили! Как? Это мне всю жизнь не давало покоя. Я всю жизнь раздумывала, сопоставляла, анализировала... Знала о его местонахождении, конечно, всегда я. Знал Субботин Иван Михайлович. Еще кое-какие товарищи... Я снова и снова, раздумывая о том или другом аресте Антона, – а я-то помню все их наперечет! – вспоминала тех, с кем он тогда общался, кто знал его местонахождение. И я всех подвергала своеобразному рентгену. Не мог ли тот, не мог ли этот быть провокатором? Нет, вы знаете, нет... К такому выводу приходила я. И вот, как говорится, по принципу исключения всегда оставался Полипов...

Говорила теперь Елизавета Никандровна хотя и сбивчиво, но ровным и спокойным голосом, а Кружилин отлично понимал ход ее мысли.

– А... сам Антон? Вы когда-нибудь говорили с ним... об этом?

– Нет. Я боялась. Чего, вы спросите? Это не так просто объяснить. Не все в жизни бывает так просто объяснить... Полипов был... равнодушен ко мне в молодости. – Елизавета Никандровна немного смутилась. – Сейчас это, конечно, трудно предположить... И я не решалась.

Она умолкла. За окном все орали воробы, Елизавета Никандровна будто прислушивалась к их трескотне, пыталась разобрать их заполошный язык. Солнце заливало всю кухню своим щедрым светом, горячие и тугие лучи били в закрытые двустворчатые двери, ведущие в комнату, где спал Юрий, сильно давили в них, и казалось, что обе створки сейчас поддадутся этой солнечной силе и медленно раскроются.

– Я сказала – это всю жизнь не давало мне покоя... Это не совсем так, – снова заговорила Елизавета Никандровна. – За многие годы я так устала от всех этих дум, бесполезных и бесплодных, что решила забыть... заставить себя забыть о прошлом... И обо всем. Что толку? И заставила. Это было еще до войны, когда мы жили в Харькове, потом во Львове. Ну а потом война. Антона назначили директором этого завода... Я приехала с сыном сюда – и обомлела. На перроне стоял... встречал меня тот, кто не давал мне столько лет покоя, о ком я заставила себя больше не думать! Что это? Рок судьбы? Невообразимо... Опять, опять этот человек стоял на пути Антона! На нашем пути. Я чуть не упала в обморок. И все прежнее ко мне вернулось...

При словах «на нашем пути» Кружилин чуть шевельнул бровями.

– Ну, допустим, – проговорил он, когда Елизавета Никандровна умолкла. Проговорил как-то машинально, раздумывая не о том Полипове, которого знала она, а о том, которого знал он. И, только проговорив, опомнился: что он может допустить? На каком основании? Но слово было сказано, надо было продолжать. И Кружилин видел, что жена Антона ждет продолжения. – Допустим... что все это так, как вы говорите. Хотя я... Я не очень высокого мнения о Полипове, о его, если хотите, нравственных качествах. И все-таки то, что вы говорите...

– У меня, повторяю, нет никаких доказательств, – сказала жена Антона сухо и резко. – Но они у меня будут. Я их достану.

Кружилин опять пошевелил бровями, спросил:

– Как? Каким образом?

– Не знаю. Но это мой долг. Перед памятью Антона. У меня хватит сил! Я не умру прежде, чем достану эти доказательства. Я должна! Обязана!!

Она проговорила это залпом, глаза ее горели звериным зеленым цветом, ноздри шевелились. Изумленному Кружилину на миг показалось, что перед ним не немощная, болезненная

Елизавета Никандровна, а какая-то другая женщина, молодая и сильная, пропитанная насквозь каким-то невиданным фанатизмом.

– Елизавета Никандровна! – удивленно промолвил он.

– Что – Елизавета Никандровна? – переспросила она, угрожающе подняв голову. – Я так решила. Понятно?!

Да, перед ним сидела неукротимая фанатичка. Это было невероятно, но это было так.

А потом такое ощущение у Кружилина прошло. Они помолчали с полминуты, может, с минуту – и перед Поликарпом Матвеевичем снова сидела слабенькая, бессильная Елизавета Никандровна. Она даже по-старушечьи как-то расправляла лежащее на коленях полотенце и тихо говорила:

– Давайте не будем... не будем больше об этом. Ах, боже мой, куда ушел наш разговор? Но я не хотела, это как-то само собой. Просьбы-то у меня к вам, Поликарп Матвеевич, маленькие. Помогите... пусть с Юрия моего снимут бронь, пусть он пойдет на фронт. А мне помогите устроиться на работу. Вот... какие две просьбы.

Кружилина поразили и первая, и вторая просьбы. Первая удивила несказанно. Он знал, как мучился Антон, что его сын, здоровый тридцатилетний мужчина, находится не на фронте, а тут, при нем, на заводе. Кружилин как-то заметил, что зря он, Антон, мучается этим обстоятельством, мало ли на заводе работает и тридцати- и сорокалетних мужчин, тут тоже фронт, снаряды должен кто-то делать. Антон Силантьевич на это ответил:

– Да, но он мой сын, сын директора... И людям не запретишь по этому поводу думать что угодно. Пойми мое состояние.

Савельев во время того мимолежного разговора, как припомнил сейчас Кружилин, немного помолчал, потер большой свой лоб, точно хотел ладонью расправить собравшиеся на нем морщины, и добавил:

– Я бы давно отправил его на фронт, но Лиза... «Я, говорит, умру, не перенесу этого, во мне потухнет что-то, если его не будет рядом...» И потухнет. Она сошла с ума от попыток в белогвардейском застенке тогда, в восемнадцатом... Я до сих пор не могу понять, как она оправилась, что помогло ей вернуть разум. И знаю – он помутится снова, если Юрку отправить. Но и держать сына возле нее я больше не могу...

И вот Елизавета Никандровна вдруг сама просит отправить сына на фронт!

Он, не зная, что сказать, что ей ответить, сидел недвижимо, только отодвинул зачем-то подальше чайную чашку. Елизавета Никандровна молча встала, подошла к окну и, сложив руки на груди, стала глядеть на пустынную улицу, Обочины улицы заросли мягкой травой-конотопом, трава была мокрая от недавно прошедшего дождя, словно обсыпана искрящейся росой. Елизавета Никандровна долго глядела на горящие под солнцем зеленые лоскутья, молчала, губы ее были сложены обиженной подковкой.

– Вы удивлены, видимо, – проговорила она наконец, не меняя позы. – Мне не объяснить, почему я так решила. Со мной... во мне что-то произошло. Словно какая-то пелена с глаз упала. Он – сын Антона и мой... Почему же он здесь, а не там... не в том пекле, где идет смертная битва за то дело, за которое мы с Антоном боролись всю жизнь? Он, Антон, переживал, мучился, а я, старая дура, понять не могла...

Елизавета Никандровна опять всхлипнула, вернулась к столу, села.

– Вот... упала с глаз и открыла многое. И, знаете, во мне откуда-то... я не знаю, откуда... появились силы. Вы понимаете, Поликарп Матвеевич?

– Что же... Это можно понять, – проговорил он, потому что ничего иного сказать не мог.

Но Елизавета Никандровна вдруг отрицательно помотала головой.

– Не-ет. Этого понять вы не можете, невозможно. Как невозможно кому-то постороннему понять, что мне вернуло тогда разум... После тех пыток. А мне его Юрка вернул.

Кружилин, слушая это, размышлял, что с Елизаветой Никандровной действительно что-то происходит или произошло необыкновенное и что понять это до конца и в самом деле кому-то постороннему невозможно.

– Хотите, я расскажу... попытаюсь рассказать, как это произошло?

– Расскажите, – кивнул Кружилин.

Елизавета Никандровна помедлила. Ее глаза были полуприкрыты, но Кружилин все равно видел, как в них то разгорается, то притухает лихорадочный зеленоватый огонек. Видимо, далекое и зловещее прошлое возникало перед ней волнами, одна картина, вызываемая усилием памяти, тотчас уступала место другой, и Елизавета Никандровна выбирала, с какой начать.

– Нас арестовали вечером двадцать шестого мая 1918 года, в тот день и час, когда начался в Новониколаевске белочешский мятеж, – наконец начала она. – Меня, жену Митрофана Ивановича Савельева, Ульяну Федоровну, Митрофан Иванович – это дядя Антона. Я, как вышла замуж за Антона, так у них и жила... В тот день Антон ехал из Москвы, со съезда комиссаров труда. Он был избран томским губернским комиссаром месяцев пять назад, был, значит, делегирован на съезд, теперь возвращался в Томск и по пути хотел нас с Юркой забрать к себе. До этого мы с сыном жили в Новониколаевске, потому что квартиры в Томске пока у Антона не было. Ульяна Федоровна пошла нас проводить... Нас и арестовали всех прямо на вокзале. И Антона, едва он выпрыгнул из вагона и подошел к нам... Опять, опять *кто-то* знал, что Антон возвращается из Москвы. И этот *кто-то* знал, что в этот вечер начнется мятеж чехословаков! Знал! Поезд еще подъезжал к станции, а Антона уже ждали... этот, Свиридов ждал. Был у нас такой в Новониколаевске. Он был комиссаром одного из красногвардейских отрядов. В прошлом Свиридов томский меньшевик, потом порвал с ними, перешел к нам. Так мы считали. А на самом деле сволочь это была, обманул он всех нас. Иван Михайлович Субботин очень хорошо знает этого Свиридова. И Субботина он провёл. И вот со своим «красногвардейским» отрядом и пришел нас арестовать. И Юрку тоже взяли. Я до сих пор помню, каким цветом горели глаза этого Свиридова, как вздрагивали тонкие крылья острого носа... А из-под кожаной фуражки торчал клочок белесых волос. Этот клочок был мокрый от пота. Я помню, как он вяло и нехотя, будто зная, что никакая сила не в состоянии нарушить его приказ... и... наслаждаясь этим... сознанием этого, произнес, глядя на Антона: «Взять его! Забрать и этих двух баб. Да и этого щенка тоже на всякий случай». Голос его помню... хриплый и пропитый. Он в ушах у меня всю жизнь стоит...

Елизавета Никандровна разволновалась, слабенькая грудь ее быстро заходила. Она положила на нее руку, но это успокоиться не помогло, и рука тоже вздымалась и опускалась, а пальцы, бледные, словно восковые, подрагивали.

– Так, может, этот «кто-то», который знал о прибытии Антона, и был Свиридов, – осторожно проговорил Кружилин.

– Нет, – опять мотнула головой Елизавета Никандровна. – Нет... Откуда он мог? А Полипов знал...

Солнце все било в комнату, только оно скатывалось уже к западу, лучи теперь не доставали до пола, солнечные пятна ползли по стене все выше, стали захватывать потолок. Елизавете Никандровне это будто не понравилось, она взглянула на верх освещенной стены, нахмурила брови.

– Нас повели по темным и окраинным улочкам Новониколаевска в сторону городской тюрьмы, – продолжала она, отдохнув. – Откуда-то не очень издалека, из центра города, доносились выстрелы. Палили беспорядочно и часто. В северной части Новониколаевска стояло зарево, там что-то горело. Юрка, помню, шел не хныкая, только все прижимался к отцу. А у того руки в наручниках... Только Ульяна Федоровна всхлипывала... И вскоре втолкнули нас в тюремный двор. Боже! Там негде было повернуться... В Новониколаевске военных было не так

много в том месяце. Несколько небольших отрядов красногвардейцев, да был еще расквартирован в городе пеший эскадрон. И все почти военные были здесь, в тюрьме. Их захватили всех врасплох, многие были избиты, окровавлены. Кругом стоны, глухой говор. На тюремных вышках, помню, ярко горели лампочки с абажурами, освещая двор, с вышек торчали пулеметы. А из города все гнали новые толпы пленных... Об нас Свиридов тут же распорядился, как привел: «Этих сразу в камеры!» – «Слушаюсь!» – ответил ему Косоротов. Был такой у нас в Новониколаевске знаменитый тюремный надзиратель.

– А-а, припоминаю этого типа, – произнес Кружилин. – Он, знаете ли, у нас здесь, в Шантаре, долгое время жил, затаившись. Но в конце концов Алейников, наш районный чекист, выследил и арестовал его.

– Да? Сколько он скрывался, подлец! – воскликнула Елизавета Никандровна.

– Так вот вышло... Сумел.

– Да-а, – неодобрительно качнула головой Савельева. – Ну, Антон, едва ступил на тюремный двор, сразу узнал Косоротова, улыбнулся ему. «А-а, говорит, старый знакомый, видно, никак нам не разойтись на этой земле...» Господи, откуда у него сила-то взялась улыбаться в эту минуту?! Я, как вспомню, так ужасаюсь прямо. Такой был Антон... Ну а Косоротову шутить было некогда, работы у него в тот день было много, запарился весь. Он молча и сердито снял с Антона наручники, повел всех нас. Отомкнул какую-то камеру, толкнул туда Антона и Юрку... Едва отомкнул – Ульяна Федоровна закричала, как зарезанная. Там, на полу камеры, в луже крови ее муж, Митрофан Иванович, лежал... мертвый уже. Он, как установилась Советская власть в городе, работал в Чека. Его, значит, одним из первых взяли. «Дедушка! Дедушка-а!» – закричал Юрка, бросился перед ним на колени, но, поняв, что тот мертвый, отскочил к отцу, ударился об него, прижался к его коленкам... «Ничего, для всех вас такой карачун приближается, – буркнул Косоротов с усмешкой; обернулся, крикнул через плечо: – Эй, кто там... уберите с третьей камеры тело». И начал нас с Ульяной Федоровной толкать дальше по коридору. И через минуту впихнул в какую-то камеру...

Дрожащей рукой Елизавета Никандровна смахнула выступивший на лбу и на верхней губе пот. Щеки ее горели тяжелым и сильным огнем, дышала она по-прежнему часто, ей не хватало воздуха. Кружилин видел, что рассказывать ей невероятно тяжело, что надо, может быть, как-то прекратить ее рассказ, но сделать этого не решался.

– Ну а потом допросы, пытки... – чуть передохнув, опять начала Елизавета Никандровна. – На моих глазах... и на глазах Антона пытали его, Юрку. – Она кивнула на запертую дверь в комнату. – Я всего рассказывать не буду. Я... я просто не могу...

– И не надо, – поспешно сказал теперь Поликарп Матвеевич.

– Всего этого не выдержал... не выдержал даже наш палач Свиридов. Он, как я потом узнала, застрелился... Выдержал Антон. И Полипов. Он тоже... он тоже оказался тогда вместе с нами в застенке.

– Вот видите, – проговорил Кружилин. – А вы говорите, что «кто-то» опять выдал в тот день Антона. Значит, не он.

– В этот раз – возможно. Я и не утверждаю... Но я все вот думаю... Я сошла от пыток с ума... И Свиридов, прежде чем застрелиться, выбросил меня из тюрьмы вместе с Ульяной Федоровной. Антон совершил побег, когда его повели на расстрел. Все организовал Субботин Иван Михайлович. Непосредственно все обеспечили для побега наборщик городской типографии Баулин Корней и новониколаевский извозчик Василий Степанович Засухин. Да еще Данила Кошкин, был такой парнишка у нас... – И вдруг жена Антона замолчала, подняла медленно голову, в упор взглянула на Кружилина. – Мне Антон говорил, что они все трое тут, в Шантаре, потом работали. И что их в тридцать восьмом посадили... За что? Где они сейчас?

Кружилин, едва Елизавета Никандровна заговорила о Баулине, Засухине и Кошкине, тотчас почувствовал почему-то, что она обязательно спросит об их судьбе. А что ему ответить? И вот, опустив чуть голову, негромко проговорил:

– Кто это может сказать... за что и где они сейчас?

– Ну да, – согласилась она сразу. И зачем-то спросила: – А этот... Яков Алейников? Про него ничего не известно?

– Он на фронте. Письма два прислал мне. Жив, здоров пока.

– Ну да, – еще раз произнесла Елизавета Никандровна, легонько встряхнула головой. – Так вот... А каким образом Полипов Петр Петрович вырвался из лап белочешской контрразведки? Тоже, говорит он, во время отправки на расстрел бежал. Когда, как, каким образом? Кто ему помогал в этом?

Жена Антона Савельева спрашивала таким тоном, будто именно сидящий перед ней Кружилин обо всем этом знал, но по каким-то причинам не хотел сказать.

– Да... – проговорил Поликарп Матвеевич задумчиво, и она опомнилась, встрепенулась, потеряла, видимо, больно токающие виски.

– Зачем же я обо всем этом так подробно и долго? Не знаю... Может, затем, чтоб лучше самой понять, что со мной произошло? И почему я хочу, чтобы Юрий поехал на фронт...

– Ну, а сам-то он как? – спросил Кружилин. Он не хотел задавать такой вопрос и все же задал.

– «Конечно, говорит, мама, я поеду... Я должен быть там, где все».

Елизавета Никандровна произнесла это ровным и спокойным голосом, но Поликарп Матвеевич все равно почувствовал, что она чего-то недоговаривает, что-то тщательно и искусно пытается скрыть и что ее разговоры с сыном о фронте были, вероятно, не так легки и просты.

– И еще потому, Поликарп Матвеевич, так подробно я... – тут же заговорила Елизавета Никандровна, явно не желая длительной паузы, – чтобы вы попытались все же понять, если это возможно... как сын вернул мне разум. Как это получилось. Я говорила, что Свиридов перед своим самоубийством распорядился выпустить нас троих – меня, Ульяну Федоровну и Юру – из тюрьмы. Тоже, кстати, непонятен и странен, если хотите, этот его поступок. Почему он отдал такое распоряжение? Что это на него нашло? Ну ладно... Так или иначе, мы все оказались на воле. Как это все произошло, я, конечно, не помню, мне это потом рассказали...

\* \* \*

...Елизавета Никандровна не помнила и до самой могилы не вспомнит теперь, как она и Ульяна Федоровна оказались на воле, не помнит, как в камеру, битком набитую узниками, зашел, брэнча тяжелой связкой ключей, Косоротов, свирепо оглядел всех, поморщился и прохрипел:

– Вы вот... Савельевы, шагом марш за мной. Живо!

Лиза, как сидела, так и осталась сидеть возле стенки. Косоронова она не видела, голоса его не слышала. В руках она держала узел и что-то мычала, чуть раскачиваясь. Ей казалось, что она не в тюремной камере, а на вокзале, кругом не заключенные, а пассажиры, ждущие, как и она, поезда.

– Поднимите эту дуру! – заорал Косоротов.

– Опять на допрос, что ли? – послышался чей-то голос.

– Ироды-ы! – обессиленным голосом вскрикнула Ульяна Федоровна, шагнула, грязная и растрепанная, к Косоротову. – Баба умом тронулась, а вам мало, мало... Меня, старуху, лучше бейте! Все равно мне помирать...

И, схватившись за грудь, повалилась. Губы и лицо ее посинели.

И тут в камере все как-то враз зашевелились, заволновались. Косоротов отступил к дверям, взмахнул тяжким пучком ключей на железной проволоке.

– Тих-хо! А то я успокою мигом! Вызову счас караульную роту...

И в самом деле все будто испугались этой угрозы, быстро смолкли. И в полной тишине Косоротов сказал, глядя на хрупкую фигурку Лизы:

– Освобождаем их. Хотя, будь моя воля... ее вот к солдатам в караулку на ночь сперва запустить. Все ж таки людям радость.

Ульяна Федоровна чувствовала, что умирает. Но она нашла в себе силы еще вывести Лизу на улицу, оттащить на несколько метров в сторону от окованных железом дверей здания белочешской контрразведки. И здесь, когда они лежали на земле под чьим-то забором, их нашел Юрка.

– Мама! Бабушка! Они меня отпустили... Я думал, опять бить будут, а они отпустили! Дядька Косоротов только по голове напоследок шибанул, гад. Мам, ты почему ничего не говоришь?

Лиза, безучастная ко всему, прислонившись спиной к дощатому забору, широко открытыми глазами смотрела на звездное небо, кое-где закрытое тучами, смотрела так, будто видела впервые и эти звезды, и ночные черные тучи, и ныряющую в эти тучи ущербную луну.

– Ты не трогай, сынок, мамку-то, – тяжело дыша, проговорила Ульяна Федоровна. – Не тревожь... Захворала она. Сбегай на нашу улицу, кликни кого-нибудь. Одним-то нам не добраться до дому.

Юрка убежал. Через час он привел двух мужиков и женщину. Вполголоса переговариваясь, мужики подняли тяжелую, почти бесчувственную Ульяну Федоровну и, поглядывая на глухой забор, которым было обнесено здание контрразведки, повели, потащили прочь. Лиза шла сама, женщина только ее чуть подталкивала. Юрка бежал сзади, слушал всхлипы той женщины, глухие голоса мужиков и, понимая, чувствуя, что неотвратимо надвигается какое-то новое и страшное горе, тоже швыркал носом, временами подвывал, как щенок, и смахивал грязными кулаками выступающие слезы.

Лиза никого не узнавала, даже сына. Не узнала она и квартиры, ходила по комнатам, тыкаясь в стены, спрашивала у Юрки и умирающей Ульяны Федоровны: кого они-то ждут здесь, на вокзале, почему так долго не приходит поезд, с которым она должна уехать?

– А вот куда ехать я должна – и забыла, – говорила Лиза, терла виски. – Вы не знаете, куда мне надо ехать?

Все это ускорило кончину Ульяны Федоровны.

В день похорон Лиза испуганно притихла, сидела в уголке, смотрела, как женщины-соседки собирают покойницу, шевелила бровями, будто что-то мучительно пыталась вспомнить. И в тоскливой суматохе никто не видел, как и когда Лиза исчезла.

Первым отсутствие матери заметил Юрка, обежал все комнаты, обшарил двор.

– Мама, мама-а! – закричал он. – Куда она делась? Вы не видели маму?

Какой-то старик с костылем и котомкой, подошедший к калитке, сказал, что час назад видел блаженную вроде бы женщину на самом выходе из города.

– Это она, она! – крикнул Юрка, выскочил на улицу. Но тут же вернулся, затормошил старика: – Где... на каком выходе? Слышь, дедушка?

– А там, сынок... На Верхнюю Ельцовку она, кажись, побрела.

Это было в последний день июня, а числа десятого июля к поскотине небольшой деревеньки Барлак, что верстах в тридцати от Новониколаевска, подошел грязный, оборванный мальчишка с исхудавшими глазами, с давно не чесанными, пыльными волосами.

– Ты чей такой? – спросила его низенькая босая женщина с прутом, пасшая гусей.

– Савельев Юрка я.

– Откуда же ты?

– Я с города.

– Ну, ступай, пройдишь по деревне, – вздохнула женщина. – Може, кто и подаст. Сейчас мало подадут. А что там у вас, в городу-то?

– Я не за милостыней. Я мамку ишу. Я в соседней деревне был, мне сказали, что она сюда пошла.

– Кто же твоя мамка?

– Она такая высокая. И она... она никого не узнает. Ее в тюрьме били.

– Блаженная?.. Постой, седни в полдень какая-то блаженная побирушка была в деревне. Ее старая Ферапонтиха, кажись, к себе покормить увела. А ну-ка пойдем...

У старой Ферапонтихи никакой побирушки уже не было.

– Ушла она, сердешная, – сказала грузная, рыхлая старуха, выслушав Юрку и женщину с прутом. – Поела маленько и пошла. Уж давно время будет.

– Куда, куда она пошла? – крикнул Юрка.

– А туда, по сокуровской дороге. Ты кто ей, сын, чо ли? Голодный ты, видать. Поешь и ты, сядь.

Но Юрка не стал есть, хотя и был сильно голоден. Он выбежал на подворье, кинулся по указанной дороге. Уже больше двух недель он ходил по пригородным деревням, разыскивая мать, питаясь случайным подаянием, ночуя где придется. И дня четыре назад вроде напал на ее след, но все никак не мог настигнуть.

Солнце пекло, дорога была сильно разъезженная, пыльная, горячая. Обжигая босые ноги, Юрка то шел, то бежал, опасаясь, что мать, если она действительно пошла по этой дороге, опять свернет на какой-либо проселок. Но отворотов, к счастью, не было.

Мать он увидел издали, сразу узнал ее худые плечи, обтянутые синей кофточкой, косо болтающуюся на ней юбку, растрепанные волосы. Она шла медленно, опустил голову, внимательно разглядывая дорогу. Юрка припустил, собрав последние силки, и, подбегая, услышал, как мать бормочет бессвязно:

– Над городом запах... Давно отзвенели... Тоску запрокинь...

– Мама! Мамочка! – закричал он.

Лиза остановилась, глянула на сына тусклыми, бессмысленными глазами.

– Мама!

– Прочь, прочь! – чуть отшатнулась она. – Ты кто?

– Да это же я, Юрка. Я тебя давно ишу.

– Юрка? Какой Юрка? – спросила она, не мигая стала глядеть на сына, наклоняя голову то вправо, то влево. Брови ее нахмурились, затрепетали вроде, но тут же расправились и застыли. – Нет, я не знаю тебя...

– А ты вспомни, мама! – И он схватил ее за руку. – Я же Юрка!

– Отстань, мерзкий мальчишка! – вскрикнула она, вырвала руку. И пошла быстро, торопливо. Но вдруг вздрогнула, остановилась. Попятилась, глядя куда-то в небо, показывая вверх пальцем. – Я их всегда вижу, они меня всегда пугают... Кто это?

В небе играли ласточки. Они стремительно и высоко взмывали, падали камнем вниз и снова взмывали.

– Да это ласточки! – крикнул Юрка. – Ну, вспомни, папа еще песню тебе про ласточек сочинил. Ты ж мне рассказывала. А мы ее часто пели с тобой...

– Песню? Какую песню?

– Да вот эту...

И Юрка, снова хватая мать за руку, торопливо, глотая слезы, заговорил:

Над городом запах... черемух струится,  
Давно отступила уж зимняя стынь.



И ласточки, ласточки... быстрые птицы  
Пронзают небесную синь...

Едва Юрка заговорил это, брови Лизы опять задергались, она опять потеряла виски и мучительно застонала. И мальчишка недетским чутьем угадал, что происходит с матерью, встал перед ней, умоляюще глядя ей в глаза.

– Мамочка! Ну вспомни! Я вот сейчас... даже спою. Вот, послушай...

И он неумело запел срывающимся от волнения голосом:

...И ежели в сердце тоска застучится,  
Ты голову в небо чуть-чуть запрокинь...  
И сразу увидишь, как вольные птицы  
Пронзают небесную синь.

Он замолк. Он с надеждой глядел на мать снизу вверх.

– Ну, вспомни! Ты еще говорила, что папа не до конца сочинил эту песню, потому что ему некогда. Но он ее досочинит тебе.

– Да, да, ему некогда, – пробормотала Лиза. – И сразу увидишь... как быстрые птицы... пронзают...

Лицо ее, измученное, некрасивое, исказилось совсем до неузнаваемости, стало вовсе страшным. Потом по нему прошла, прокатилась судорога, глаза широко раскрылись, в них затрепетал неясный свет, загорелось что-то осмысленное. И вдруг быстро-быстро, в две-три секунды, ее глаза наполнились слезами, губы задрожали, и она, шатаясь, протянула к сыну руки, закричала на всю степь пронзительно и страшно:

– Юрка-а! Ю-юрка! Сыно-ок!

– Мама! – бросился к ней мальчишка.

– Сынок! Сыночек! Сыно-ок! – кричала и кричала Лиза, крепко прижимая к себе худенькое и грязное дрожащее тельце...

\* \* \*

– ...Вот так он мне, Юрочка мой, разум вернул, – утомленная разговором, произнесла Елизавета Никандровна. Голос ее рвался, был слаб и беспомощен. – Постороннему это не понять, я говорю. Да и самая... Я ничего не помню, все это со слов Юрика. Я помню только смутно, как мы с ним... я и сын... возвращались откуда-то в город. Это я помню уже... И все, что после. А до этого – темный провал. Но Юра говорит, что все это было так.

Поликарп Матвеевич, потрясенный услышанным, молчал. Да и что было говорить, какие слова найти, чтобы ее утешить, что ли, ободрить, поддержать? Их не было, этих слов, а кроме того, он чувствовал, что она, пережившая все это, не то чтобы не нуждалась, а просто не хотела сейчас таких слов, потому что они были бы бесполезны.

Вздохнув, Елизавета Никандровна с грустью произнесла:

– Антон так и не досочинил мне эту песню. Все ему было некогда, некогда...

Она медленно стала поднимать голову с гладко зачесанными назад седыми волосами, собранными на затылке в небольшой узелок. И когда подняла, в широко открытых глазах ее стояли светлые слезы, где-то в зеленой глубине этих глаз дрожали две колющие солнечные искорки.

– Боже мой! Ведь у меня был Антон! Какая же я счастливая...

Голос ее был еще тише и слабее, чем раньше, но он, этот слабенький голос, больно разрезал что-то внутри у Кружилина, щемящая боль растекалась по всему телу. Ее полные

слез глаза, в которых дрожали светлые искры, были невыносимы. И Кружилин в эти короткие секунды наконец-то понял, кажется, что произошло с Елизаветой Никандровной, какая она сейчас, и даже, как ему казалось, представлял, какой она будет теперь... Он не то кашлянул, не то сдавленно крикнул и начал подниматься из-за стола.

– Спасибо... Спасибо за угощение, Лиза, – проговорил Поликарп Матвеевич. – А с Юрием что ж... Это не трудно. Я скажу в военкомате и Нечаеву...

– Он сам заявление напишет, – сказала Елизавета Никандровна. – Чтобы... как бы добровольцем...

– Почему как бы? Так и будет. А насчет твоей работы я подумаю, куда и как...

Елизавета Никандровна тоже встала. Высокая, худая, она стояла теперь на ногах прямо и твердо.

– Думать вам не надо. Я хочу в районную библиотеку. Там, кажется, нужен библиотекарь. Там тепло и мне по силам. Книги буду выдавать.

Лицо ее было спокойно, лишь на щеках слабенько проступал румянец. Солнечные искры из глаз ее исчезли, они смотрели куда-то в пространство холодно и жестко.

– В библиотеку? Ну что же, очень хорошо, – сказал Кружилин.

\* \* \*

Савчук хотел поехать в тайгу сразу же по возвращении из Москвы, но дел на заводе за его отсутствие накопилось действительно много, и, пока он их решал, прошла неделя.

В тайгу с собой он взял человек пятьдесят крепких мужиков, поехали на трех грузовиках, потом, отправив грузовики назад, потому что дальше проезжей дороги не было, около суток тащились на верховых лошадях, шли пешком. Громотуха текла здесь между горных теснин, грозно ревела на многочисленных перекатах, оправдывая свое имя. Когда лесная тропа, означающая дорогу, подворачивала к берегу, грохот звенел такой, что не было слышно голосов.

Стояла июльская жара, безжалостно палило белое солнце, обваривая листву на деревьях. Обычно липкая, сосновая хвоя жухла, обильно сыпалась с ветвей. Лишь кедрам такая жарынь была нипочем, косматая хвоя держалась на них крепко, горячий ветер трепал ее, как лошадиные гривы, но оборвать не мог. Кедровые массивы, не очень крупные и не частые, выделялись среди моря поблекшей зелени темными пятнами и одуряюще пахли расплавленной смолой.

– Божье наказание прямо-таки... Экое пекло! – пробормотал маленький кривоногий старикашка по имени Филат Филатыч, высланный навстречу с лошадьми. – Ну ни одного дождика, почитай, с Арины-рассадницы. Громотуха прям обдонила... А досок напилили, слава те господи, высокие штабеля! Да еще эких ты молодцов ведешь. И рванем сейчас, ух... ничего. Успею до Ильина-то дня. А там вода будет, только и рвануть сейчас надо. Это ты правильно, что подмогу ведешь. И в Шантаре, гряд, тоже сушь стоит?

– Да, плохо нынче, – сказал Савчук. – Хлеба горят.

– Ага... Рассказывал этот, что с милиции-то приехал к нам, Елизаров. У нас тут... хе-хе... события одна случилась. Двое парней из-за девки... Сперва посильничать, что ли, хотели ее. А потом чуть до смерти друг дружку не ухайдакали. Знаешь? Из-за этой, Инюткиной Верки.

– Инютиной, – поправил Савчук. – Знаю. Разберемся.

– Тьфу! – плюнул старик в сторону. – Хучь бы девка была... А то так, Инюткина. Ни ума в глазу, ни добра в заду.

– Насчет добра-то, дед, наоборот вроде, – усмехнулся один из мужчин.

– Это на чей вкус, – отрезал старик. – Такого добра как песку на берегу, ты зачерпнешь, а мне так и нагнуться лень. А они – спорить из-за нее. Тьфу!

– Отнагивался ты, дед, – усмехнулся тот же мужик.

– Да оно так, – без всякой обиды согласился старик. – Был рысак, да сбил подковы...

Филат Филатыч слыл на всю округу непревзойденным сплавщиком плотов по своенравной Громотухе. В молодости он характер имел лихой и необузданный, как речка. Мог он ни за что ни про что, по известным ему одному причинам, обидеть человека, зла ни ему, ни кому бы то другому никогда не делавшего, всячески его ослабить. Мог завести дружбу и старательно опекать человека, по общему признанию никчемного. И до сих пор были у него в оценке людей и отношении к жизни какие-то свои мерки и свои принципы, не понятные другим.

Он был уроженец этих мест, всю жизнь прожил в верховьях Громотухи. До революции услугами Филата Филатыча частенько пользовался богатей Кафтанов. Филат Филатыч иногда сплавлял ему огромные плоты в малую, как в нынешнее лето, воду за сущий бесценок, почти даром, рисковал при этом не раз собственной жизнью. А иногда и в высокую воду, когда сплавить вниз древесину не составляло никакого труда, ломил такую плату, что у Кафтanova от ярости тряслась борода. «Ну как хоть, как хошь, это дело хозяйское, – отвечал на такие вспышки Филат Филатыч со спокойным смешком, который еще больше стервенил Кафтanova. – Ты хозяин, стало быть, башковитый, тебе и видней, што те в выгоду, а што в убыток».

И как-то так получалось, что даже в высокую воду плоты Кафтanova без Филата Филатыча частенько разбивались. И Кафтанов, матерясь, снова шел на поклон к строптивому плотогону.

В гражданскую Филат Филатыч оказывал партизанам Кружилина кое-какую помощь иногда, пару раз, когда полковник Зубов совсем уж настигал измотанных бойцов Поликарпа Матвеевича, уводил их в непроходимые урманы и укрывал в недоступных лесных дебрях. И в то же время этот Филат Филатыч в те грозные годы держал где-то у себя, укрывая по таким же урманам, малолетнего сына Кафтanova Макарку вместе с приставленной к нему в няньки Лушкой Кашкаровой, а потом, после гибели Зубова, и его сына Петьку.

– Я, Филат Филатыч, точно не знал тогда, что ты прячешь сыновей Кафтanova и Зубова, – сказал старику Кружилин, когда вместе вот с Савчуком отыскал его прошлогодней весной в тайге, чтобы лично попросить сплавить в Шантару заготовленный лес. – Не знал, но мысль иногда мелькала: не ты ли их прячешь? А может, теперь признаешься? Дело прошлое.

– А выведал бы, так что ж, прикончил дитев бы? – вскинул старик маленькую, но упрямую свою голову с косо сидящей на ней шапчонкой. Умные глаза его, длинные и узкие, как у монгола, поблескивали, точно бритвы.

– Я зверь, что ли, какой?

– А что же тогда тебе за дело?

– Да любопытно просто.

– Ну что же... удовлетворю, – усмехнулся старик, снял шапку, по-крестьянски пригладил ладонью все еще густые и почти не поседевшие лохмы волос. – Так было дело.

– Ах ты хитрец! – смеясь, воскликнул Кружилин. – Должно быть, высокую плату тебе платил Кафтанов. Ведь рисковал все же. Время-то было горячее, могло и ошпарить...

– Кака там плата, – махнул рукой Филат Филатыч, нахлобучил шапку, но опять криво. – Вся радость-то в деньгах разве?

– Значит, что же ты, из идейных соображений?

– Из человеколюбия, – строго произнес старик. И вдруг хихикнул как-то смущенно. – Я что ж, всегда такой кривоногий, што ли, был да хилый?

– Да я помню, какой ты был.

– Ну вот... А Лушка-то в те поры... хе-хе... Вся плата была при ней.

Секунду еще и Кружилин, и Савчук молчали, а потом оба разразились хохотом. Смеялись долго, до слез в глазах. Улыбался и сам старик, отворачивая узкие свои глаза.

– И жук же ты, Филат Филатыч! – вытирая глаза платком, проговорил Поликарп Матвеевич.

– Да уж как умели, так и жужжали. Лукерья ничего, довольная была.

Савчук, отмахиваясь от свирепых, чуть, казалось, не со стрекоз, комаров, шагал по стиснутой деревьями лесной тропе, поглядывал на лохматый, как кедровая ветка, затылок Филата Филатыча, на сверкавшие порой то слева, то справа заснеженные громадины гор, думал об этом необыкновенном крае, куда забросила его судьба, о живущих тут удивительных людях. Он родился и вырос в украинских степях, прожил там всю свою жизнь, и ему казалось, что нет ничего прекраснее этих степей и чарующего неба над ними. По ночам звездные волны, казалось ему, схлестывались со звоном, а потом на землю до утра сыпалась бесшумно звездная пыль, и луговые травы по утрам горели не от росы, а от этой пыли. Теперь он как-то обостренно понял, что красота на свете бесконечна и разнообразна, что природа никогда себя не повторяет и вот здесь, в Сибири, тоже натворила дивы дивные...

Филат Филатыч шел с костыльком, посапывая, но легко и скоро, время от времени оборачиваясь, вытирая ладонью потный лоб в мелких морщинках.

– Ничо, мужики, скоро уж, – говорил он весело, поблескивая узкими глазами. – Туточки раз вздохнуть да два шагнуть.

Старик очень был доволен, что в прошлом году к нему в такую глухомань приехал сам секретарь райкома партии.

– Понадобился, стало быть, я? – спросил он сперва вроде недружелюбно и настороженно.

– Так человек, Филат Филатыч, всегда нужен людям, – ответил Кружилин.

– Это так, – мотнул головой Филат Филатыч, настороженность его исчезла, он по-стариковски засуетился вокруг самовара, принес большую чашку застарелого меда, стал угощать. – Давайте... А плотики я вам, как яички, целехонькие доставлю. Это нам дело знакомое.

– Надеемся, Филат Филатыч. Кроме тебя-то, и попросить некого.

– Ну, есть людишки, – не согласился старик с Кружилиным. – Вот Акимка из-за белков... Да Акимка, ежлив уж до конца-то, охламон все ж таки да пьяница. Не-ет, я вам, как яички...

И действительно, всю древесину Филат Филатыч доставлял аккуратно, никогда не терял даже бревнышка. Нынче в мае сплавил еще несколько больших плотов, а потом вода резко упала, на перекатах обнажились мокрые лысины камней. Сейчас лысины высохли, даже брызги до них не доставали. И строительство жилья на заводе фактически прекратилось.

– Значит, Филат Филатыч, будет вода, говоришь, после Ильина дня? – спросил Савчук.

– Обязательно. Раз белки вон обещают.

– Как они обещают?

– Глянь, слепой, что ли! Синь между белками синится. Это уж точно, побежит вода с ледников к Ильину дню.

Савчук, сколько ни вглядывался в вершины заснеженных гор, никакой сини между ними не видел. Небо и небо, белое, как и повсюду. Но спорить со стариком не стал, только произнес машинально:

– Дай-то бог.

– Во-от! – воскликнул старик. – Приперло, так и ты, партийный, тоже взмолился.

– Да я так, по привычке.

– А может, зря? Зря, ежлив только по привычке? А?

– Ну, зря не зря, а раз не верю в бога... ты вроде веришь, а я нет. Ты уж прости, Филат Филатыч.

Старик на это ничего не сказал, отвернулся и долго, часа полтора, шагал молча.

Потом остановились передохнуть и перекусить. Рабочие вскипятили чай в двух больших медных чайниках, вынули хлеб, сахар. Большой ломоть хлеба, кусок сахару и кружку чаю дали и старику. Он все так же молча и сердито выпил чай, съел хлеб и, по-прежнему сдвинув кустистые брови, неодобрительно слушал разговоры и смех молодых парней. И Савчук уже пожалел, что ввязался с этим своенравным и непонятным стариком в ненужный разговор о боге, даже

встревожился: черт его знает, этого Филата Филатыча, возьмет да и выкинет какой-нибудь очередной фокус. А где другого такого плотогона найдешь? Кружилин тогда шкуру снимет.

– А вот спрошу тебя, Игнат, – проговорил неожиданно Филат Филатыч, впервые назвав Савчука по имени. – Вот в народе говорят: нельзя работать в Ильин день... И рассказывают: один мужик в селе нарушил такой запрет, сено у него было скошено. Ну, на Илью, обыкновенно, гром погромыхивает – катается он, значит, на своей колеснице по небу, по тучкам. Мужик-то испугался, давай торопиться сено в зарод сметывать. «Успею, грит, до дождя, что ж, что Ильин день, не пропадать сену-то...» И сметал. А тут и прилетела невесть откуда ворона с горящей веткой во рту, села на мужиков зарод да подожгла. Да еще на другие зароды стала перелетать. Сядет – и подожжет, сядет – подожжет... Вся деревня на зиму и обескормилась, по миру пошла вся деревня... Вот. А?

– Предрассудки это, Филат Филатыч, – сказал Савчук. – Сказки, понимаешь.

– От ты! – поморщился старик. – Я ж о другом спрашиваю: отчего Илья такой злой-то?

Савчук не мог понять движения мысли старика, не мог уразуметь, чего тот хочет, и только пожал плечами.

– Или вот еще в наших краях рассказывают... ну, пушай сказку, как ты определяешь, – заговорил опять неугомонный и непонятный старик. – Святой Николай-чудотворец ходил по земле с Ильей-пророком. Ну, ходят, глядят... Углядели, что бедный хрестьянин один землю пашет. Подошли да попросили пахать. Пашут по очереди. Потом спрашивают: «Кто лучше из нас двоих пашет-то?»

Хрестьянин тот показал на Николу. Озлился Илья на бедного мужика и говорит: «Ну ладно инда... За такие несправедливые слова я те хлеб градом выбью. Налив хороший на твоей полосе будет, а я выбью...» Тады Никола пожалел хрестьянина, да и шепнул ему: «А ты обмани этого Илью, поменяйся полосой с богатым мужиком, у которого хлеб худой будет. А мне за совет свечку поставь». Хрестьянин так все и сделал. Пришел к богатому и говорит: «Давай обменяемся полосами, видишь, какой у меня хлеб тучной. Токмо в придачу маленько деньгами дашь, деньги нужны больно – лошадь купить...» Ну, богатей увидел выгоду, обменялись. Стали поспевать хлеба. И тут накатила туча да как ударит бывшую хрестьянскую-то полосу! И градом ее всю повыбило. Илья-пророк о той хрестьянской хитрости прознал, рассердился, собирает тучу на его полосу, какая раньше богатому принадлежала. Хлеб-то на ней все ж таки кое-какой уродился. Тут опять явился к хрестьянину Никола да шепчет: живо разменивайся с богатым, я те, дескать, говорю, да опять придачу попроси деньгами, коровку, мол, хочу купить, детишки малые, молочка хотят. Ну, разменялись. Токмо успели – как посыпал град. И повыбило полосу, которая теперь уж к богатейу обратно вернулась. А у хрестьянина выбитая раньше градом полоса отошла. И хлеба он много собрал да на придачу два раза от богатей получил... Ну а Илья, получается, остался ни в тех, ни всех. И осерчал тогда пророк на чудотворца. «Ах ты, грит, шаромыжник такой! Вовсе и не чудотворец ты, а как есть шаромыжник! Обварился, что хрестьянин свечку тебе с синичью ножку поставил! Да ить богатый мужик пудовую бы не пожалел. Ты ж мой авторитет среди народу подрываешь...» Да за бороды друг дружку, да пошли там, за облаком, кататься. Пошел гром! И что же ты думаешь? Никола-чудотворец и покаялся: «Критику, грит, признаю твою, Илья. По легкомыслию я научил хрестьянина, да я выправлюсь, хрестьянин этот у меня запоет...» Наутро упала у хрестьянина скотина вся, а хлеб в сусеках вдруг загорелся да сгнил в одну ночь. Утром глянули, а там одна труха. И пошел тот хрестьянин с детьми по миру...

– Ну вот, – с улыбкой промолвил Савчук, когда старик умолк, – выходит, ошибался я, и ты, кажется, не очень в бога-то веришь.

– Ну, очень али нет, это мое дело, – промолвил старик сердито. Помолчав, он вздохнул, и было в этом вздохе какое-то сожаление. – Я человек темный, жил в лесу, топтал росу. И что ж, раньше я бога соблюдал, хоть и грешил... Да-а, несправедливости много в жизни уж

больно. Куда ж бог-то смотрит, ежели он есть? Что же он своих причиндалов всяких распустил? Этого вот Илью. Или опять же Николу-чудотворца... Вот у меня женка ране была. Разошлись мы с ней давно, она сейчас в Шантаре живет, старая. Каторжница она была, а за что? Сынок помещика одного ссильничал ее, девчонку. Ну, она в беспамятстве-то и отомстила, вилами его запорола. А душа-то у нее! Муравьишку всякую жалела. Обижал я ее, грешный, обманывал с Лушкой этой, вот она и ушла от меня. Да и с другими обманывал. Тожесть – как бог допускал? Али вот эти войны... Хоть та, гражданская, хоть эта, нынешняя. Видел я в кине-то, как плоты в Шантару пригонял. Такая красота на земле, а ее огнем жгут, железом этим... порохом взрывают. Где ж он, бог? Не-ет, Поликарп Кружилин ваш правильно, в туза прямо: не бог, а человек всегда людям нужен...

Вот куда вывел старик! Мысли его были теперь понятны, но слова, которыми он облакал их, были настолько своеобразны, что Савчук только поражался.

А Филат Филатыч мотнул головой, сбрасывая с себя раздумье, узкие глаза его заблестели опять умно и хитренько, по-озорному.

– А Поликарп-то жук! Знавал я его в молодости тожесть... Цыганку с табора он свел, помню.

– Какую цыганку? – спросил с любопытством Савчук, никогда раньше об этом не слышавший.

– Ух, цыганка была! Отец ее с ножом по всей Громотухе рыскал, Поликарпа искал... Зарезал бы, кабы не Кафтанов. Богатей тут у нас такой жил. Женился на цыганке этой после Поликарпа Кружилина.

– У него ж жена не цыганка вовсе! – воскликнул Савчук.

– Это другая. Та померла. Еще до этого, до революции, все было...

– Во-он что! Каторжница, цыганка... Интересная у вас тут жизнь протекала!

– Так она, жизнь, завсегда, – кивнул старик. – Такие круги выписывает, что ежели придумывать, не придумаешь сроду.

– И долго бывшая твоя жена, Филат Филатыч, на каторге была? И кто это, ежели не секрет? – спросил Савчук.

Но старику этот вопрос не понравился, он нахмурился, поднялся, произнес сердито:

– Старый я пес... разболтался об чем не надо. Какое твое дело – кто? Любопытный какой... Ну, айда, тут недалеко уж. Подымай людей-то, расселись-разделись, будто на ночь...

\* \* \*

Добравшись до лесозаготовительного участка, Савчук в сопровождении долгового, изъеденного комарами бригадира лесорубов по фамилии Мазаев обошел все делянки, осмотрел груды сваленных, очищенных от сучьев деревьев, штабеля напиленных досок, глянул в тетрадку Мазаева, где велся учет лесозаготовок. И спросил:

– Обед во сколько?

– С двух часов у нас. По участкам обедают. Сперва лесоповальщики, потом обрубщики сучьев, возчики, пильщики. Сразу для всех места за столами не хватает.

– Сегодня всех к двум часам собери. Посовещуемся.

В два часа на вытоптанной до черноты поляне, где стояли врытые в землю грубые, плохо оструганные столы, собрались все лесозаготовители. Заросшие волосами, давно не стриженные, в старых, пущенных на износ рубашках да пиджаках... На поляне было тесно, кто стоял у столов, кто сидел на земле. Слышался говор и смех, плыл в синее и горячее небо табачный дым, мешался с влажным воздухом. Все недали, что скажет им парторг, с чем он приехал.

Говор и смешки затихли, едва Савчук вышел с Мазаевым из палатки, служившей конторой лесозаготовителей.

- Ну как, лихо тут? – спросил Савчук, поздоровавшись с людьми.
- Зачем? Куро-орт...
- Воздуху много.
- Кина нету вот... Да девок бы на разжигу хоть.
- Или Алеху сместить, язву... Свекровь она, что ли, им?

Вспыхнул опять смешок, не злой, добродушный. Повариха Евдокия Алексеевна, полная, сварливая, но в душе добрая женщина, которую все звали Алехой, строго следила за своими четырьмя молоденькими подсобницами, медсестрой и продавщицей ларька, каждый вечер загоняя их в отведенный им семерым дощатый балаган, сколоченный из горбылей и обрезков. А больше женщин здесь не было. Нынче весной взамен заболевшей продавщицы ларька, в котором люди могли купить мыло, табак и всякую прочую мелочь, была назначена Вера Инютина. Она намеревалась было в этом же ларьке, сколоченном из досок, оборудовать себе и жилье, но Алеха, явившись, молча забрала ее тряпье, строго зыкнула: «Еще чего! Тут одно мужичье, не соображаешь, дура?»

Смешок вспыхнул и тут же загас, придавленный голосом Алехи.

– Это кто там про меня высказывается? Захар, что ли? Тебе-то какое горе? Ты ж каждый вечер в Облесье, за пятнадцать верст, бегаешь.

– Он скороход, что ему?

– Марафонец!

– А там марафонки живут. Их не сторожат, – сказал Захар, крепкий в плечах, невысокий парень.

– От тебя усторожишь. – Повариха, обтерев потное и красное лицо фартуком, подошла к улыбающемуся Савчуку. – И этих, Мишку с Генкой, сомустил. А они вон каких делов натворили, милиция понаехала теперь...

«Понаехавшая» милиция в лице Аникея Елизарова была тут же. Елизаров за два года работы в милиции сильно раздобрел. Сейчас он, покуривая, сидел на врытой скамейке спиной к столу, возле него стояла Вера Инютина, что-то ему обиженно говорила, а тот слушал, облокотившись о свои колени и опустив крупный нос к земле. Инютина была в белом с пестринами платочке, в светлом платье и отчетливо выделялась в толпе.

Все еще посмеиваясь, Савчук сказал:

– Ладно, Евдокия Алексеевна, во всем разберемся. Да и вообще не долго тут будем все теперь... Товарищи дорогие! Времени у нас нету много собраничать. Положение, в двух словах, такое... Лесу заготовлено порядочно, досок напилено тоже порядком. Но недостаточно все же... Поэтому директор завода отдал распоряжение – заготовку бревен прекратить, все силы бросить на распиловку. Я вот даже еще пыльчиков привез. Но, подсчитав все на месте и обсудив обстановку, думаю, надо в этот план кое-какие изменения внести... Вот Филат Филатыч говорит, что сплавная вода будет нынче только с неделю держаться после Ильина дня и спадет... Так?

– Так. Оно по всем приметам так, мужики, – уверенно сказал Филат Филатыч. – Я тут всю жизнь прожил. Гаранту даю полную, вот увидите...

– Если так, прохлаждаться нам некогда, товарищи. Упустим эту неделю – зимовать опять народ в землянках будет. Потому что никаким иным способом древесину отсюда не вывезти.

Прошел по толпе говорок. Многие из работающих сейчас здесь уже две зимы пережили в землянках, и зимовать еще одну было в таком жилье невмоготу.

– Поэтому принимается такое решение. Распиловку прекратить вовсе. В конце концов, все можно и в Шантаре распилить, было бы что. Разделиться всем на две группы. Одна будет возить бревна к реке и сплавивать в плоты. Сколько надо, столько туда и назначим, чтоб к этому самому Ильину дню все плоты были наготове. Остальные будут продолжать день и ночь валить деревья. День и ночь... За оставшиеся дни нам надо сделать как можно больше. Вот и все.

После обеда, когда все рабочие разошлись по своим местам, Савчук, слушая визг пил, стук топоров и голоса людей, тоже похлебал немного из миски и направился в сопровождении Елизарова к ларьку. Вера Инютина, увидев входившего парторга завода, вильнула испуганно глазами, вскинула ладонь на колыхнувшуюся грудь, обтянутую тонким платьем, встала боком к небольшому оконцу и опустила голову. За два последних года Вера как-то повзрослела, и, хотя ей было всего двадцать три, шел двадцать четвертый, от ее глаз, походки, жестов, от всего ее облика веяло достоинством много пожившей и немало испытавшей женщины.

Елизаров, зайдя следом за парторгом в ларек, сел на перевернутый ящик из-под мыла и опять опустил нос книзу. Когда садился, ящик под его налитым задом захрустел, и Савчук, не глядя на милиционера, поморщился.

– Ну, красавица, рассказывай, что тут такое приключилось?

Инютина всхлипнула.

– Разобраться надо. Расскажи...

Из сбивчивого рассказа Веры он понял, что насиловать ее никто не собирался вроде, и почувствовал великое облегчение. Дело было простое – двое молодых парней, как только Вера появилась в тайге, стали частенько забегать в ларек, потом и сторожить, когда она возвращалась по вечерам на ночлег или утром шла умываться к ручью. Вера улыбалась при встречах и тому, и другому («Что ж я, ведьмой должна смотреть на всех?!»), и между парнями, ранее дружившими, стала возникать неприязнь. А несколько дней назад после работы оба умотали с тем самым Захаром, на которого Савчуку жаловалась повариха, в деревушку Облесье, что расположена километрах в пятнадцати в горах. Там у знакомой Захара они всю ночь пили медовое пиво, а к утру объявились здесь.

– Я только умылась в ручье, иду назад, – говорила Вера, не глядя на Савчука, – а он, Мишка, вывалился из-за кустов. Пьяный, улыбается...

Тут Вера подняла глаза на Савчука. В глазах ее горели желтые точки, как у рыси, а губы были обиженными.

– Говор идет, будто хотели... хотели они меня... Неправда это! Они оба хорошие – и Михаил, и Генка. Только дураки. Зачем они мне?

Проговорив это, Вера прикусила нижнюю губу своими остренькими зубами. Елизаров поднял на Инютину глаза, усмехнулся и снова опустил взгляд.

Дальнейшее, по рассказу Веры, развивалось следующим образом. Михаил начал объясняться в любви, раскинул руки, прижал ее к стволу сосны и начал целовать. В это время из леса вышел Геннадий, тоже пьяный. «Не лапай ее!» – «А твоя она, что ли? Следом крался, как шпион?!» – «Уматывай!» – «Сам катись!»

– Слово за слово – и пошло у них, – рассказывала Вера. – Потом один схватил сук, другой – какую-то палку. И начали друг друга молотить. Я опомнилась, когда у Мишки кровь потекла, закричала...

Через несколько минут Савчук в сопровождении того же Елизарова подошел к землянке, где сидели драчуны.

– Ну-ка, выведи их.

Елизаров отомкнул двери из почерневших плах. Геннадий и Михаил вылезли на свет осовелые, у одного была перебинтована голова, у другого – плечо. Вылезли и встали, опустив виновато длинные руки с сильными ладонями. Савчук знал обоих – они работали в литейке и были неплохими мастерами.

– Красавцы! – произнес Савчук насмешливо и холодно. Парни молчали. – В военкомат, что ли, вас обоих отсюда отправить?

– Во-во! – подал неожиданно голос Елизаров. – Разбаловались до края тут.

– А вы не пугайте! – вскинул голову Геннадий. – Чем нашли пугать!



– Вы вон енту милицию на фронт опробуйте, – желчно бросил и Михаил. – А мы – с полным желанием и удовольствием. Наели тут рыла...

– Вот-вот! – усмехнулся Елизаров. – Это они и про вас... Хулиганы!

– Замолчите! – прикрикнул Савчук на Елизарова в бешенстве. Этот человек его раздражал все больше. И недоволен был Савчук собой, этими своими глупыми словами о военкомате, неизвестно как вырвавшимися. Действительно, нашел чем пугать...

– За драку прощения просим, – заговорил Михаил. – Так, по дурости... Тут этот нас пугает, раскормленный боров. – Парень кивнул на Елизарова. – Дескать, прижгут вам место, каким изнасиловать девку хотели. Не было этого! И в мыслях. Верка, если честная, она скажет...

– Как же вы додумались побоище такое устроить? – спросил Савчук.

– Пиво проклятое... Когда Мишка исчез из дому той, знакомой Захара-то, мне стукнуло: к Верке он это тайком от меня. Ну, я и следом подался за ним. За дорогу хмель не выветрился. Умеют в Облесье пиво варить... А что там! Наказывайте, чтоб поделом... Мишка-то вроде и ни при чем. Меня уж давайте.

– Марафонцы! – вспомнил почему-то Савчук словечко, выкрикнутое недавно на поляне. – Марш к медсестре!

– Да мы вроде бы... От безделья только ослабли.

– Марш, сказано! Оттуда – к Мазаеву. И глядите мне! В другой раз не такой разговор будет!

Парни повернулись и пошли друг за другом, гуськом. Елизаров поднял свой тяжкий, в красных прожилках, нос на парторга.

– Прощаете, выходит? Непорядок это, незаконно. Мы боремся с такими, а этак-то...

– Слушайте, вы... борец! – Савчук свирепел все больше, не понимая даже отчего. Ребята, подравшиеся из-за девчонки, если говорить честно, даже нравились ему чем-то. За пьянку и драку надо прижучить, конечно, тут уж как положено. А вот этот милиционер... Действительно, разжирел, растолстел, как баба. – Марш... к Мазаеву!

– То есть? – хлопнул длинными ресницами Елизаров.

– Он на работу определит.

– Извиняйте... У нас свое дело. Мне в райотделение надо. Выделите лошадь.

– А я говорю – к Мазаеву! – угрожающе повторил Савчук. – Будете тут до конца вместе со всеми деревья валить. А с райотделением я объяснюсь как-нибудь.

Елизаров переступил с ноги на ногу, сложил губы обиженно, повернулся грузно и пошел.

\* \* \*

В деревне Облесье, неизвестно почему так называвшейся, – стояла она как раз среди самой дремучей тайги, провалившись на дно горной котловины, – была почта, дня через четыре Савчук съездил туда на верховой лошади, позвонил Нечаеву, объяснил директору завода, что тут, на месте, исходя из условий, он принял несколько иное решение, а распиловку бревен на доски прекратил.

– Ну что ж, пожалуй, пожалуй, – глуховато покашливая, произнес Нечаев. – Тебе на месте виднее.

– Не мне, Филату Филатычу. Любопытный старикан. Вяжет плоты каким-то известным ему только способом, материт всех остервенело... Позавчера на ночь уехал куда-то. «Погляжу, говорит, чем белки дышат». Прилетел вчера к обеду, загнав лошаденку, заматерился еще яростнее. Через неделю, утверждает, вода поднимется. Надо как-то нам бы его... премировать побогаче.

– Сделаем. Как вообще-то там?

– Лесу достаточно навалили. Успеть бы плоты сколотить. Я уж почти половину людей по требованию Филата Филатыча ему отдал. А у вас как?

– Все нормально. Слушай, ты что с моей секретаршей сделал?

– То есть? – не понял сразу Савчук.

– Чуть с ума она не сходит все эти дни. В Москву было кинулась... «Обрекаешь, говорю, меня на смерть ты, как я тут без тебя? Дай отцу телеграмму, письмо напиши... Теперь-то уж нашли друг друга».

– А-а, – сказал Савчук. – А это точно его дочь?

– Здравствуйте... Чья ж еще? Сегодня она с ним по телефону говорила.

– Он позвонил?

– Да нет, мы отсюда Наркомат вызвали.

Возвращаясь из Облесья, Савчук думал о состоявшемся разговоре с директором. Голос у Нечаева вроде бодрый, покашливает только. Значит, оправился после того жестокого приступа в кабинете у Кружилина. С недоумением размышлял о Наташе Мироновой, вернее, о ее отце-генерале. Это был еще не старый, только очень измученный, кажется, язвенной болезнью человек. На лице его выделялись брови, не очень густые, но разметистые. Глянув на эти брови, Савчук вспомнил, что и у Наташи такие же, и сразу подумал: не он ли ее отец?

– Простите, Александр Викторович, у вас нет... дочери Натальи?

– А что? – вскинул он свои темные, недоверчивые глаза. Взгляд у него вообще был какой-то отчужденный, немного испуганный, будто он от каждого собеседника ждал подвоха, ловушки, и это не вязалось с его генеральской формой, с его положением в Наркомате. – Была у меня дочь по имени Наташа. Но она погибла вместе с матерью, моей женой, во время эвакуации. Я навел все справки... Их эшелон разбомбили.

– У нас в Шантаре, на нашем заводе, работает Наталья Александровна Миронова. Ей лет двадцать – двадцать один. Я не знаю, ваша ли это дочь, но брови у нее... И глаза... И она из эвакуированных.

– Боже мой! – Миронов шагнул из-за стола к Савчуку. – Неужели жива? Я немедленно позвоню в Шантару...

Вернувшись из Наркомата и закрутившись с делами, Савчук как-то не выбрал времени рассказать Наташе о встрече с ее отцом, полагая к тому же, что они давно созвонились. Раза два у него мелькало удивление, почему ж Наташа сама не отыщет его и не расспросит о подробностях этой встречи, но тут же эта мысль пропадала в суматохе. И только перед самым отъездом в тайгу, когда грузовики уже выехали за территорию завода, а Савчук из проходной прощался с Нечаевым, решил перемолвиться с Наташей.

– Я слушаю, Игнат Трофимович, – сказала Наташа в трубку.

– Ты что ж об отце-то ничего не спросишь? Все-таки я живого его видел.

– О каком?... Что-о?! – В трубке что-то захлебнулось, послышалось частое дыхание. – Пойдите... Вы это... со мной говорите? С Наташей?

– Да ты что? – растерялся даже Савчук. – Погоди... Я в Наркомате встретил твоего отца. Он обещал позвонить тебе сразу. Разве он не звонил?

– Не-ет, – растерянно промолвила девушка. – Пойдите... Я сейчас к вам... Вы откуда говорите?

– Я из проходной. Но меня ждут люди. Грузовики с заведенными моторами.

– Нет, не-ет! – закричала Наташа. – Подождите меня!

...Над тайгой по-прежнему палило солнце, даже в тени под деревьями было душно и влажно, как в парной бане. Лошаденка, привычная к такой жаре, шла резво, только время от времени фыркала да мотала хвостом, пытаясь отогнать комарье. Савчук, запарившийся в пиджаке, решил было его снять, но тут же надел, потому что комары, как шильями, тотчас начали прокалывать рубаку на спине, на плечах.

Да, странно это, что Миронов не позвонил дочери, как обещал, не дал даже телеграммы, раздумывал Савчук, покачиваясь в седле. Вообще никак не сообщил о себе, пока дочь сама не позвонила.

За обратную дорогу эта мысль несколько раз возвращалась к Савчуку, неприятно беспокоя чем-то...

Вернулся Савчук уже затемно, выслушал доклад Мазаева о том, что сделано за день, остался доволен.

– Многие только, что на сплотке, кашлять начали, – сказал Мазаев. – Старик их целый день в воде держит. А сам как железный, зараза... Одна лошадь ногу сломала. Пристрелить пришлось.

– Эти как... марафонцы, которые подрались?

– Работают, как звери.

– Людей на сплотке менять надо...

– Да меняем.

Когда совсем стемнело, Савчук, поужинав, взял мыло и полотенце, пошел к Громотухе. Всюду на отлогом галечном берегу громоздились кучи бревен, длинные готовые связки плотов лежали на воде, привязанные канатами к большим валунам или вкопанным в землю бревенчатым сваям. Савчук зашел на один из таких плотов, разделся. Здесь, на реке, было свежо, тянул ветерок, относил комаров, и они почти не беспокоили. Вдыхая с жадностью холодный запах мокрой древесины, Савчук прыгнул в теплую, усыпанную звездами воду. Здесь было неглубоко, всего по грудь, течение слабое, дно песчаное. Савчук вымыл голову, с наслаждением поплавал, разбрызгивая руками звезды, вылез на плот, натянул брюки и рубаху, закурил.

За его спиной горели редкие огни костров, слышались нечастые голоса, раздавался иногда смех. Все это доносилось реже и реже, люди, утомленные долгим и нелегким рабочим днем, укладывались в палатках, в землянках, а то и просто у дымокуров.

Неожиданно сзади послышались всхлипы оседавших в воду бревен. Савчук обернулся – кто-то шел к нему по плоту. Через секунду-другую он различил, что это Вера Инютина.

– Ой, ноги чуть не поломала! Там еще бревна не связаны. Извините... Я не знала, что это вы здесь. Думала, из девчонок кто.

Савчуку эта девица не нравилась, ему были всегда неприятны ее какие-то уж слишком угодливые глаза при встречах, и он не понимал, зачем Нечаев взял ее к себе в секретарши. Заходя в приемную, он вежливо здоровался и, отмечая, как вспыхивают приветливо ее длинные глаза, тут же отворачивался. Несмотря на приветливость, глаза ее казались ему неискренними. А вот сейчас, кажется, и голос, и слова.

– Сюда вообще не следует ходить купаться, – сказал Савчук. – Не положено.

– Кем это? – спросила Вера. – Вы же ходите... Тут вода чистая.

Она проговорила это приглушенно и, кажется, чуть с улыбкой. На этот раз в ее голосе Савчук уловил откровенное желание разрушить грань официальности.

– Тут везде вода чистая.

И Савчук встал.

– Вы простите... Ей-богу, я думала, что тут... Я уйду. Купайтесь.

– Я уже выкупался, – ответил он и пошел на берег.

Минут через двадцать, когда Вера с мокрыми волосами шла от берега по протоптанной в лесной траве дорожке, из-за толстого ствола метнулась к ней расплывчатая тень, кто-то железной хваткой защемил ей и голову, и шею. Она не успела крикнуть, только охнула, чей-то горячий рот поймал ее губы, начал жевать их, а другой, свободной рукой нырнул под расстегнутую кофточку, больно сжал холодную от воды грудь. Вера пыталась вывернуться, зарычала, принялась рвать волосы насильника, а потом, догадавшись, кто это, затихла и даже, когда тот оторвался от ее губ, сказала:

– Ну что же ты, Аникой? Еще целуй, а то у меня кровь застыла.

Елизаров, однако, отпустил ее, сел на корточки под сосну.

– Дурак ты, – зло сказала Вера, застегивая кофточку. – Что пугаешь? Захотел потискаться – сказал бы. Сама б пришла.

Вера постелила полотенце на землю и села рядом с Елизаровым, натягивая юбку на коленки.

– Я, Верка, Нинуху свою из-за тебя выгнал, – сказал он тоскливо. – Айда за меня.

– Не будет этого.

– Тогда... вот те крест, Верка, силой тебя подомну как-нибудь. Нарушу твою невинность драгоценную.

– И этого не будет, – спокойно сказала Вера. – Тогда ведь тюрьма, фронт. А ты этого боишься. Трус ты. Вон цыкнул на тебя Савчук, и ты остался тут, вкалываешь. Трудненько? – усмехнулась она.

– А зачем мне на рожон с этим пустяком лезть? Я вот хочу на желдорогу перейти работать. Устроюсь кем-нибудь – кладовщиком или где по механизации. Я ж тракторист все же. А из-за такого пустяка он, Савчук-то, еще и озлиться может.

– А у вас-то что, в милиции? Сняли броню, что ли?

– Ну, у нас... – неопределенно махнул рукой Елизаров.

Вера, поняв, что у Елизарова по службе какие-то неприятности, опять усмехнулась. Он заметил это, схватил железными пальцами ее за плечо, тряхнул.

– Ты! Не скайся. Все рыбачишь, где поглубже? Ишь, на плот приперлась. Дура! Да разве он клюнет?

– Вывел, а! – И Вера хохотнула. – Зад отрастил, а мозги совсем ссохлись. Я и не знала, что он тут.

– Ничего, понимаем. Алейников сорвался, директор завода из секретаршей по шее дал... Грубо работала, должно. На передний план все титьки выставляешь. А они у тебя склизкие.

Вера вскочила, губы ее дернулись. В темноте ее глаза сверкали, брызгали искрами.

– Т-ты... мешок с навозом! Какие бы ни были, да не для тебя! – И она торопливо сделала шаг назад, будто боялась, что Елизаров опять кинется на нее. А он действительно встал.

– Слушай... Инюткина, как этот старый хрыч тебя зовет... – прохрипел Елизаров. Стоя на месте, он протянул длинные руки, схватил Веру, стоящую теперь столбом, и притянул близко к своему лицу.

– Отпусти сейчас же! – вскрикнула она сдавленно. – Я закричу!

– А я что, не понимаю, что закричишь? – усмехнулся ей в лицо Елизаров. – Потому я тебя силком брать не буду. Сама ты подстелишься под меня. Добровольно. Запомни.

– Жди, как же!

– Подожду, я терпеливый. – И он оттолкнул ее от себя. – Никого ты, рыбачка, не поймешь. Крючки у тебя не те. Я только для тебя...

Он повернулся и пошел, раскачивая в темноте огруженным задом. А она стояла, взбешенная, ее просто колотило от ярости, но глядела, как он уходит, молча, а чтобы не закричать, острыми зубами кусала край полотенца.

\* \* \*

– Нет, не-ет! Подождите меня! – пронзительно закричала тогда, после разговора с Савчуком, Наташа, всполошив все заводоуправление, напугав Нечаева. Федор Федорович торопливо вышел из кабинета, но ее там уже не было, каблук ее скатывались вниз по лестнице – будто пулемет строчил. И тут же, как одиночный выстрел, хлопнула входная дверь.

Наташа летела к проходной, никого не видя на своем пути, волосы ее развевались, по щекам текли слезы, и встречные шарахались от нее в стороны. Оттолкнув ошалевшего охранника, она выскочила на улицу.

– Вертайся назад, язви тебя! – кричал седоусый стрелок из военизированной охраны завода. В правой руке у него был выхваченный из кобуры наган, на помощь ему спешили еще два охранника, сдергивая с плеча винтовки. – Ты што ж, сдурела? Пропуск, говорю, а ты толкать... А кабы стрельнул? Хорошо, в лицо тебя знаю... Ну, давай пропуск али вертайся!

Если бы все это видел посторонний, ему бы показалось, что у заводской проходной поймали опасного злоумышленника. Но охранники действовали просто согласно инструкции.

– Иди, Наташа, – сказал и Савчук. – Потом мы с тобой подробно поговорим. А сейчас мы очень спешим.

– Ну хоть два слова! Это... он? Да? Он?

– Да, это твой отец.

– Как он... Господи! Как он выглядит? Скажите!

– Как! Нормально...

Так же никого не видя, шла Наташа назад. Она вошла в кабинет директора, захлопнула за собой обитую черной клеенкой дверь и прижалась к ней спиной.

– Что такое?! – встал ей навстречу директор.

– Папа, папа! Он... Савчук говорит, что он в Наркомате работает. Я говорила, говорила, что он не виновен! – бессвязно выкрикивала Наташа, давясь слезами, потом качнулась к Нечаеву и уткнулась ему в плечо.

Не сразу Федор Федорович понял, в чем дело, а когда понял, усадил свою секретаршу за длинный «совещательный» стол, вытер ей, как девчонке, щеки своим носовым платком.

– Вот и хорошо, Наташа, – сказал он. – Давай-ка чаю попьем, а? Я сейчас сам заварю. Видишь, мы живем все-таки по законам справедливости... Где у тебя заварка-то?

Говоря это, Федор Федорович вышел в приемную, оставив дверь в кабинет открытой, включил там электроплитку, на которой Наташа всегда грела для Федора Федоровича чай, полез в шкаф, ища заварку.

– Сейчас мы почаевничаем. Прекрасно, все прекрасно, Наташенька. Дочка-то как твоя, Леночка, а?

Потом они пили чай, директор завода подробно и потому неумело расспрашивал о ее житье-бытье, хотя все прекрасно знал и без этого, о ее муже Семене, даже о бабке Акулине, у которой жила Наташа.

– А знаешь... А хочешь, мы отзовем твоего мужа с фронта? – неожиданно предложил Нечаев.

– Как? – удивилась Наташа, даже обрадовалась.

– Ну... это не трудно. Наш завод военный, нужны специалисты. Я напишу, мне пойдут навстречу.

Наташа молчала долго, глядя в остывающую чашку. Она вспомнила, как Семен год назад уходил на фронт. В мозгу зазвучали вдруг отчетливо его слова, когда они лежали на горячем песке речного острова: «Ты подумай сама вот о чем... Дед мой, Михаил Лукич, кто был? Люди помнят... Может, кто и забыл бы, да сын его Макар живой еще... И отец мой, сама видишь, какой. Подумай – и поймешь, почему я должен идти. Мама поняла, она заплакала, но сказала: "Иди, надо, сынок..." Вспомнила и куличка, бежавшего у самой воды по мокрой полоске песка от настигающей его тени от облака. И как Семен следил за ним. Еще вспомнила, как он уезжал на фронт, как медленно уползал поезд, обвешанный гроздьями людей, а за последним вагоном бежал он, Семен, а она, Наташа, смотрела на него и радостно думала, что он не догонит вагона, поезд уйдет без него, а он останется, и они вернутся домой, и все будет как прежде. Но Семен

догнал вагон, к нему протянулись руки, ухватили его, затащили в черный проем вагонных дверей...

Все это Наташа увидела вдруг перед собой как на живой картине, как в кино, а Нечаев не видел, потому что ничего этого не знал и не испытал. «И потому вот сказал это... это...» – мелькало у нее в мозгу.

Еще молча она отрицательно качнула головой, а потом только произнесла:

– Не-ет... Невозможно это. Никак...

Нечаев, беспомощно и виновато следивший за ней, чуть отвернулся. И Наташа поняла, что он предложил это от доброты просто, и, если бы она согласилась, может быть, и отозвал бы Семена с фронта, но навсегда бы потерял уважение к ней. И к Семену. Они бы для него тогда перестали существовать. Как надо иногда немного, чтобы к тебе потерялось вот такое человеческое уважение, без которого и жить-то нельзя. Одно, всего одно слово... Но как ей сейчас не просто было удержаться от такого слова!

Неожиданно Наташа, сразу забыв о Семене, ощутила в себе какое-то беспокойство, глянула на директора завода вопросительно и растерянно.

– Но почему отец... действительно не позвонил мне до сих пор? Не дал телеграмму? Не написал? Сколько дней прошло!

Ее беспокойство передалось и Нечаеву.

– Да, да... Но он мог... уехать куда-нибудь. У них дел-то! Мог просто заболеть, в конце концов...

– Тут что-то не так! Тут что-то не так! – дважды воскликнула Наташа, поднялась, зажала виски ладонями. Ткнулась в один угол кабинета, в другой. – Я не могу... Я сама... сама должна поехать в Москву!

– Зачем же? Можно же телеграмму дать... Или давай сами позвоним, а? Ведь это просто!

– Ой! – воскликнула Наташа, побледнела вдруг, как стена. – Не надо!

Она выскочила в приемную, села за свой стол, уронила голову и заплакала.

Минут через десять успокоилась, поправила волосы, глянула в зеркальце. Глаза были красными, припухшими. Еще подумав о чем-то, встала и зашла к Нечаеву.

– Федор Федорович... Если можно, я домой... Леночку пора кормить.

– Конечно, конечно... Ты вообще можешь сегодня не приходить. Отдохни.

– Спасибо, – сказала Наташа. – И без меня не звоните в Москву. Мне просто страшно.

– Хорошо, Наташа.

Она вышла из проходной, не обратив внимания, что седоусый охранник, которому она машинально показала пропуск, что-то пробубнил, зашагала по пыльной улице к домику бабки Акулины, глядя себе под ноги, но ничего не видя на земле.

Бабка Акулина встретила ее ворчанием:

– Ты, девка, мать али кто? Извелась вся девчонка. Есть хочет.

Наташа молча взяла Леночку, вынула тяжелую от молока грудь и дала дочери. Села у окна и стала глядеть во двор, где копались в пыли куры.

Бабка, погремев у печки заслонкой, достала чугунок со щами, поставила на стол две чашки, положила две ложки.

– Ты что это, касатушка, ревела, что ль?

– Говорят... Мне сказали, что отец мой в Москве.

– Охтиньки! – Старуха всплеснула обеими руками. – Выпустили его с тюрьмы?

– Получается так...

– Ну и слава богу нашему! Справедливей он. Што ж теперь-то! К отцу, что ль, поедешь?

– Ах, не знаю! Прямо голова кругом...

Больше Наташа ничего объяснить не стала.

Покормив дочку, Наташа села к столу, пододвинула к себе чашку.

– Ты кушай, доченька, – суежилась добрая старушка, тоже присаживаясь, поклевывала из чашки. – Тебе дитё кормить, молочко должно быть покрепче. А без вкусу ешь, молоко будет в грудях тонкое. Мальчонке бы еще ладно, они, мужики, потом силу набирают. А женский род другое. Девке с пеленок надо силу набирать внутрь. Девке рожать, род человеческий продолжать...

Потом Наташа, почувствовав смертельную усталость, прилегла и быстро заснула, а когда прохватались, в оконца уже били косые вечерние лучи. В доме не было ни бабки Акулины, ни Леночки – видно, старуха вышла с ней погулять. Наташа, чувствуя в теле легкость, умылась и вышла во двор. Бабка Акулина сидела в тени у стенки, держа девочку на коленях. Та, выпростав ручонки, тянулась к бабкиному лицу, улыбалась. Старуха что-то тихонько бормотала, морщинистое лицо ее было светлым и молодым в этот момент, и Наташа подумала вдруг, что настоящее-то выражение человеческого лица вот таким и должно всегда быть.

– Во-от и мамка встала-а, – проговорила старушка нараспев, не прекращая с ребенком бесхитростной своей игры. – Мамушка твоя встала, Елена свет Семеновна, да-а... А мы есть опять хотим...

Наташа, улыбаясь, взяла дочь, расстегнула кофточку. Леночка сильно втягивала горячим ртом сосок, иногда больно прижимала недавно прорезавшимися зубками, но Наташе было приятно, и, когда дочь сосала грудь, ощущала полноту бытия и счастья. В эти минуты ничто не имело для нее значения – ни кошмарное прошлое, ни не очень-то благоустроенное настоящее, ни человеческое горе, ни полыхающая уж два года жестокая война. Она ощущала только извечным материнским чувством вот эту новую жизнь, которой она дала начало, и тихо удивлялась красоте окружающего – и зеленому топольку за оградой, и синему небу, и белым, бесконечно бегущим куда-то по небу облакам.

– Ишь захлебывается, – тихо проговорила бабка Акулина, глядя, как Наташа кормит дочь. – Оголодалась. Малая жизнь, на волосенке держится, а своего требует...

Старуха помолчала, задумавшись о чем-то своем. И проговорила со вздохом:

– Она всякая жизнь-то на волосенке... и большого, и малого. А не кончается... Отчего дочка твоя родилась, понимаешь?

«Оттого, что с мужем спала», – чуть не сказала Наташа, бывшая сейчас в каком-то хорошем и легком настроении, но, почувствовав серьезность бабкиных размышлений, не посмела.

– А вот от этой нескончаемости жизни, – сама ответила старуха на свой вопрос. – Покуда солнышко светит, жизнь не кончится, не замрет на земле-матушке.

«Покуда солнышко светит...» Наташа долго думала над этими словами, почти физически ощущая, как это необходимо, чтоб солнце светило. Даже не для нее самой теперь, а вот для Леночки, для этого крошечного и родного существа, которое появилось «от нескончаемости жизни». Наташа представила себе неясно какие-то далекие дни, далекую жизнь, когда Леночка ее вырастет и будет жить и смеяться где-то в потоках света и солнца. И волосы ее будут солнечными волнами гореть и переливаться, сбегая до плеч.

И вдруг вспомнилась ей та кошмарная ночь, когда Елизаров в доме Маньки Огородниковой арестовал родного дядю Семена – Макара Кафтанова – и его ужасных друзей Гвоздева и Зубова, и ее, Наташу. Огородникова привела ее тогда к себе в дом, чтобы эти бандиты надругались над ней. И тогда что же? Тогда – смерть, она бы не перенесла, что-то бы с собой сделала. Огородникова нашла ее, почти уже замерзшую, в степи за деревней, она спасла ее от неминуемой смерти, и она же привела ее на смерть... Но вдруг непонятное поведение главаря этих бандитов Зубова, который приказал отпустить ее. Но она не успела уйти, ворвался в дом Елизаров со своими милиционерами... И обращенные к ней непонятные слова того же Петра Зубова, когда милиционеры их всех повели: «Человек никогда не должен становиться на колени. Если он встал на колени, он уже не человек». Потом кошмарная ночь в милиции, в пустой, грязной, вонючей камере, где до рассвета пищали и возились крысы. Наташа леденела от мысли, что крысы набросятся на нее и загрызут...

Часто, очень часто вспоминала Наташа все, что с ней было и в ту ночь, и раньше, и позже. Она пыталась разобраться: что же все-таки произошло с ней, каковы причины, что жизнь чуть не растерла ее, не уничтожила, и почему все-таки не растерла? Кружилин Поликарп Матвеевич, секретарь райкома, сердито сказал ей тогда: «Один-два подлеца встретились тебе, а ты и заключила, что все люди такие...» – «Не два, – возразила она яростно, – их много». И тогда Кружилин еще злее выкрикнул: «Ну, двадцать! Ну, двести!» И она, Наташа, подумала, что и этот секретарь райкома такой же бездушный и тупоголовый человек, он ничем ей не поможет, жизнь ее покатится под обрыв дальше. А теперь вот кругом нее люди добрые, обыкновенные, их много, целый завод, целая Шантара... И есть у нее Семен, есть вот Леночка, есть эта добрая бабка Акулина. «От нескончаемости жизни...» Да ведь большая и мудрая мысль в этих словах, что-то вечное и великое, как это небо над головой. Да, все от нескончаемости. И ее почти неминуемая гибель, и ее как бы второе рождение. Мать погибла, а отец вот... нашелся. Антона Савельева, директора завода, больше нет и никогда не будет, а завод дышит все сильнее, все растет... Семен там, где каждую минуту может...

Наташа вздрогнула, прикрыла глаза. Невозможно было представить, что может произойти там, на фронте, с Семеном, и кощунственно даже думать об этом. Но и не думать нельзя, ведь война! Но что бы ни случилось, что бы ни произошло с ним, останется его Леночка. «Девке рожать, род человеческий продолжать...» Правильно, все правильно...

Тянул тихий, теплый ветерок, шевелил светленькие и мягкие клочья волос на голове уснувшей Леночки, уставшей, опьяневшей, наверное, от света и чистого воздуха, от материнского молока. Наташа боялась даже пошевелиться, чтобы не нарушить ее покой и сон.

\* \* \*

День уходил нехотя, тяжело и трудно меркло небо, не желая поддаваться наплывающей темноте, потом яростно и долго горел закат, отсвечивая на каменных вершушках Звенигоры.

Развешивая постиранные пеленки, Наташа поглядывала на потухающее небо, на бледнеющие горные вершины и представляла себе, что где-то там, на другой стороне земли, идет вот такая же обратная борьба утреннего света с ночной темью, солнечные лучи, пронизывая мрак, цепко хватаются за горные утесы, за вершушки деревьев, за крыши домов, как бы подтягивают за собой само солнце. И мрак рассасывается, тает, откатывается прочь.

«От нескончаемости жизни...» – опять и опять вспоминала она бесхитростные слова бабушки Акулины, которые казались ей все значительнее, хотя сама старуха, укладывающая на ночь Леночку, давно забыла о них. Наташа тихо, про себя, улыбалась. Улыбалась, но на сердце было все же тревожно и беспокойно. «Почему отец... если это он, не отзывается никак, не ищет меня? Наверное, тут какая-то путаница, и это не он...»

Было страшно, неожиданно получив надежду, тут же потерять ее.

Закат наконец погас, над горизонтом горела лишь бледновато-желтая полоска, но в эту узкую щелку свету проливалось всего ничего, и он не доставал уже до земли.

Наташа разобрала свою постель, но раздеваться медлила. Присела на кровать, посидела, потом встала, подошла к окну, принялась высматривать что-то во мраке.

– Да что ты все маешься? – проговорила старуха. – Отбей телеграмму, да и вся недолга.

– Легко сказать. А если...

– Что если? Будешь жить, как жила. Не во зверях живешь, как я когда-то...

– Как это во зверях... вы жили? – повернулась к ней Наташа.

Бабка Акулина, высохшая, маленькая, в одной нижней рубашке, завертела беспомощно головой, уже повязанной на ночь по-старушечьи стареньким платочком, виновато и обескураженно заморгала.



– Ах ты, якорь меня тресни! – пробурчала она недовольно. – Язык бабий... – Она села на кровать, затеребила завязки на подушках. – Известно как. Старое время было, что тут... Спи давай.

Наташа подумала: она столько времени живет у этой славной старушки, а ничего, в сущности, о ней не знает. Кто она, откуда, почему живет бобылихой? И вот случайно старуха проговорила о чем-то, но тут же пожалела об этом.

– Нет, расскажите, а? – попросила Наташа. – Акулина Тарасовна... Если можно...

– Чего там! Обыкновенно... Зачем тебе?

– Вы обо мне все знаете. А я о вас ничего. Вместе ж живем.

– Живем... Все люди вместе живут. Да поврозь часто думают. В этом все и горюшко на земле. Весь корень тут.

Наташа, еще более пораженная этими словами, шагнула к старухе, опустилась перед ней на пол, обняла ее худые ноги.

– Расскажите. Мне это нужно зачем-то... Я столько добра от вас видела! Сделайте еще одно.

– Чудная, право слово, – вымолвила старуха. – Какое тут добро может, в моем рассказе? Откуда возьмется?

– Не знаю. Только будет, я чувствую.

Слабая и сухая грудь старухи тихонько шевельнулась.

– О-хо-хо, доченька... Все в моей жизни перебивало – и солнышко, и слезоньки. Слез, должно, больше... И счас вот живу как неприкаянная. Ты вот попалась мне, объявилась как-то, согрела маленько.

– Да все же, все наоборот!

– Ну, это ведь с какого боку смотря... Человек от человека греется-то. Мужик мой все так говаривал. Хоро-оший он был... якорь бы ему за печенку! – Рука ее, поглаживающая голову Наташи, дрогнула. – Тьфу ты! Отчего мы злые-то такие? Нехорошо, грех.

Старуха помолчала, глядя куда-то в одну точку. Взгляд ее был грустноватый, но не тоскливый, руку она все держала на Наташиной голове. Потом убрала.

– Да, верно, слез больше, – неожиданно как-то раздался снова ее голос, скрипучий, изношенный. – А глянешь в глубь-то прожитого, в годы-то дремучие, быльем все густо заросшие, – не-ет, видится, солнышка тож в достатке было, светило оно и обогревало славно... Отчего ж оно так, Наташенька?

– Не знаю. Я как-то... пока не ощущала такого.

– Ну, да, ты молоденькая еще... – И продолжала какую-то свою мысль: – Оттого, я думаю вот, что с жизнью-то расставаться тоскливо. Глядишься в нее и выискиваешь в первую очередь то... ну вот то, для чего родился. Зря или не зря? – думаешь. Не-ет, вон и радовалась миру божьему, и посмеивалась. И любовь была человечья. Да, была...

И тут вдруг ее взгляд потух, она опустила голову. Но потух на мгновение всего, потому что, когда она подняла глаза, они были прежними, чуть грустноватыми и раздумчивыми.

– Ты знаешь, доченька, я ведь каторжная... – произнесла она ровно и тихо, только зрачки при этом чуть шевельнулись.

Наташа почувствовала, как дрогнули веки, будто свет мигнул в комнате. А может, и в самом деле это мигнула электрическая лампочка.

– Как же?!

– Так... На каторге маялась больше десяти годочков. – И старуха рассмеялась неприятным, скрипучим смехом. – Да ты не бойся, давнее дело...

– За что же? – спросила Наташа деревянно и встала.

– За убийство.

Наташа стояла, оглушенная. Вот так... добрая бабушка Акулина! А она живет тут с ней...

– А ты б разве в ту ночь-то, когда у Огородниковой Маньши в доме этот Зубов-то Петенька тебя обсильничал бы, а? Али другой кто из тех... Взял бы да распнул на кровати... Как бы ты, не зарубила его? Не заколола... чем-нибудь?

Наташа молчала.

– Ну?! – зло крикнула старуха.

– Зарубила бы, – уронила Наташа глухо, без голоса.

– То-то и оно... Вот и я... прости ты меня господи!

И старуха вдруг всхлипнула по-девчоночьи, жалко и беспомощно, и стала вытирать глаза сухими, костлявыми пальцами. С Наташей что-то случилось, что-то внутри оборвалось, расплавилось и горячей влагой обдало все сердце. Как-то она никогда не думала о прежней жизни бабушки Акулины, а ведь эта жизнь-то человеческая была вон какой... жутко представить! И Наташа снова шагнула к старухе, опять упала на колени, схватила ее руки и уткнула лицо в ее жесткие ладони.

– Бабуся... Акулина Тарасовна, милая! – Высохшие ладони старухи пресно пахли запахом ее, Наташи, ребенка и немного речной мятой, которую она пила каждый день от сердца. – Да как же, как же? Ты прости меня...

И она стала целовать ее жесткие, негнушиеся пальцы.

– Вот, сердечушко мое, – не сильно, беспомощно вздохнула старая женщина. И повторила: – Убивица я, человека я, значит... Бог-то и наказывает меня за это всю жизнь, должно... Сынок он нашего помещика был, богатый человек. На Ярославщине... Военный.

– Расскажите, – снова потребовала Наташа, хотя видела, что говорить старухе тяжело.

– Давно, говорю, было. Давным-давно.

– Но вы же все помните! Такого нельзя забыть!

– Нельзя, – согласилась старуха. – Хотела б, да не забывается...

Она помолчала, вынула тихонько свои горячие ладони из Наташиных рук, опять погладила ее по голове.

– Шестнадцать-то годочков мне всего и было в ту пору, семнадцатый шел, самый цвет, – начала старая Акулина. – Дворовые мы были у помещика, в деревне Косяковке жили. Там я и родилась в восемьсот семьдесят втором. Прошлый год мне уже семь десятков пробренчалю. Долгонько что-то зажила я...

Старуха судорожно глотнула воздуху. При свете электрической лампочки лицо ее было бледным, неживым, лишь темноватые глаза горели пронзительно.

– Да, в самую пору я входила, парни заглядываться начали. Пощипывать начали, известное дело. Помещик-то у нас ничего, добрый был. «Гляди, говорит, Акулина, девка ты красивая, да без баловства чтоб у меня, а я тебя за хорошего мужика замуж выдам. Я, грит, об тебе позабочусь, поскольку отец с маткой твои после воли у меня остались и служат исправно...» А мои родители и правда у него так и остались, когда воля вышла. Ну, ты знаешь про ярмото крепостное?

– Да, да, – кивнула Наташа.

– До меня оно еще было, а при мне что ж? То же самое... Родители мои куда могли пойти, чем жить? Так и остались у помещика. Вот за это, значит, он и говорил... А было у него два сына – Викентий да Евгений. Военные. Они служили где-то в самой Москве, а на лето часто к нам приезжали. Евгений был постарше на год, с усиками. Как ножи были те усы, я думала, губы... лицо все он мне ими покромсает.

Акулина Тарасовна дотронулась пальцами до сморщенных, бесцветных щек, будто проверяя, не осталось ли до сих пор шрамов от тех усов.

– Значит, этот, Евгений, вас...

– Обои, – проговорила старуха негромко и хрипло, отвернув глаза. – Пьяные они были. Трезвые-то, может... Евгений-то всякие шуточки говорил мне, когда где встретит, в красноту

вгонял. А другой, Викентий, огнем заходилась от братцевых шуточек. Стыдливый был. А тут... Ехали они откуда-то из гостей вдвоем, братцы-то. А я с луга шла. Барин всех сено метать выгнал, дождливое лето было, рук не хватало, чтоб сено ко времени прибрать. Он и выгнал всех с деревни, от мала до велика. День сгребали, метали, а под вечер родитель мне, помню, сказал: «Ступай, дочушка, на становье, самовар раздуй покуда, а мы сейчас...» Становье недалеко было, версты с две, за леском у дороги, возле речки. Ране тут пасека барская была, омшаник стоял брошенный, догнивал. А теперь, летом, косари жили... Да-а, иду я, к становью подхожу, а сзади коляска и стукотит. Я и не испугалась даже – мало ли народу ездит туда-сюда... Остановилась, гляжу, – а это сынки бариновы. В одних рубахах белых. Евгений-то сходит с коляски, гляжу, усик свой пальцем поглаживает, будто наостряет. И глаза горят нехорошо. За ним, гляжу, и другой братец пошатывается, плечами мотает. Тут-то я и обомлела враз: господи, да в глазах-то у обоих звериное! Кинулась от них, метнулась туда-сюда по становью... Мне бы, дура, за речку, да и в лес. Не догнали бы, где им, пьяным! А я со страху в омшаник юркнула, дверь спиной приперла. А что дверь-то, она даже без закладки была. Ткнул в нее плечом Евгений, она отмахнулась, я и отлетела перышком. Прижалась в угол, шевелю губами, а голосу нету... Все же чую, что плачу, и говорю: «Не трожьте, ради Христа, уходите с добром. Вон отец с маткой идут уж, и мужики...» А Евгений все наостряет усики свои, в уши мне голос его долбит: «Не бойся, глупая... Колечко золотое дам...» Ну, и... схватил за плечи да начал усами мне лицо, шею резать. Господи, чую, шарит по грудям уж, по ногам, а боль только от усов этих насквозь все тело прокалывает, будто они и впрямь железные...

Акулина Тарасовна рассказывала все это долго, с перерывами, голос у нее иногда угасал, горло перехватывало, и дряблая кожа на нем дергалась, будто она хотела что-то проглотить, но не могла, не было сил. Старческие глаза по мере того, как она рассказывала, наполнялись скупыми слезами. И наконец она тихонько, как мышь, пискнула и заплакала. Но выплакалась быстро, приподняла край пестрого, сшитого по-крестьянски из разноцветных лоскутков одеяла, вытерла глаза и глянула на Наташу. Щеки ее горели, глаза стали еще темнее, чернота в них сгустилась, кажется, до предела.

– Вот... нащемила я твое сердечушко, дура старая, – проговорила старуха виновато. – Да ить сама ты...

– И что ж... потом-то? – требовательно спросила Наташа. – Все, все расскажите!

– А что... Растянули они меня прямо на земляном полу... испохабили чистое девичество. Этот, Викентий, который стыдливый-то, без усов был, а еще хуже... Он зачем-то щеки мне все покусал до крови. Вот... Ну, и боле-то я ничего не помню, потеряла разум. Очнулась я, а первая дума – задавиться. Куда с такой славой в деревне? Поднялась, иду, как неживая, к дверям. Слышу, голос кричит: Евгений, торопись, мол, увидят, мол, нас тут. Дверь открытая, я и слышу, хотя в ушах звон стоит звонкой... Вышла я за порог, гляжу – Евгений этот, с усиками, коленки от грязи тряпкой обчищает. Спина его белым горбом передо мной. А тот, Викентий, видно, за омшаником, возле коляски. Оттуда, соображаю, это он кричит ему, убратся, паскудники, скорее хочут... Ну а после, известное дело, – кому доказывать-то, что барские сынки тебя ссильничали? Заикнись – так плетями забьют до смерти. В старое-то время какой с них спрос был? Вот... И, гляжу, вилы стоят у стенки омшаника, рожками блестят, как нарочно. И опалило меня: сейчас я их в белый-то твой горб! Хрястнет только... А тут, вижу, оборачивает он ко мне свои усы, глаза у него округляются, сам вытягивается. «Ты что это? – кричит он, а усы дергаются. – Ты это брось!» А сам с тряпкой этой в руках пятится, пятится к омшанику. Это, получается, с вилами я на него. Как они в руках у меня оказались, я и не знаю, этот миг провалился из памяти.

Наташа медленно, чувствуя, как дрожат коленки, поднялась, постояла возле старухи, оглушенная ее рассказом.

– Чтой ты? – спросила Акулина Тарасовна.

– Так... Сейчас... – Она отошла к кровати Леночки, та крепко спала, откинув в сторону правую ручку. Поправила одеяльце, хотя нужды в этом не было.

– Запорола... его? – спросила отрывисто, с трудом.

– Ага, – сказала старушка тихо и просто. – В шею прямо угодила. Приколола его к почерневшей стене, как... Опять же, не помню, как это я... Коленки его грязные только перед глазами, которые он не успел отчистить... Откудова сила-то взялась, непонятно, ить всю они меня измяли, обессилили. А вилы на вершок али больше того в стенку омшаника воткнулись. Выронил он тряпку, а сам обвис, приколотый. Кровища из шеи хлещет... Я черенок-то вил из рук выпустила, а он качается перед моим лицом... Попяtilась я в страхе великом, в голове молотит: да это что же я такое наделала?! Хочу крикнуть – и не могу. А он висит да дергает ногами. Потом оборвался со стены, свалился кулем вместе с вилами, еще ногами подергал, да и затих... Опять я крик услышала: «Женька, да что ты там? Мужики с покоса идут!» И тут вот только прорезался голос у меня, взвыла я благим матом...

Наташа, чувствуя, что ноги ее не держат, шагнула к столу и села. Виски больно рвало, в голове шумело.

– Вот, за такое убийство меня и сослали в каторгу, – проговорила Акулина Тарасовна, забираясь с ногами на кровать. Но она не легла, а поджала ноги под себя по-девчоночьи, укрыла их одеялом, спиной прислонилась к стенке, затянутой ситцевым ковриком. – В сибирское село Кару пригнали... На лошадях ехали, потом по чугунке. По этапу мужиков в кандалах гнали, а нас, баб, ослобоняли, милостивцы... На ночь только железо надевали. И там, в Каре, и мыкалась я год, другой. А на третий господь сбежать надоумил.

– Как... как же удалось вам? – после некоторого молчания спросила Наташа.

– Ну, как да что – упомнишь разве? Долгое дело рассказывать. Господь, а может, дьявол нашептал: беги, грит. Ну, я и кинулась в побег. Зверицей я по лесам таилась, варначкой, значит, по-местному, по-сибирскому сказать, год жила. Шла да шла куда-то. Добрые люди в Сибири-то живут, доченька. Без них я бы сдохла от голода через неделю же али к стражникам сразу попала. В первой же избенке, куда я стукнулась, одежкой подсобили, сала соленого дали, сухариков. И проводили ночью подале... Богатеям, конечно, нельзя было на глаза попадаться. А бедный люд нам, варнякам да варначкам, на ночьставлял где-нибудь на полочку возле дверей то хлеба, то крынку молока, то еще чего... Так было в те поры в Сибири-то. А мы возьмем все это ночью, поклоняемся доброму дому, да и опять в тайгу. Да-а... Одно время с рябой бабенкой я спаровалась, тож беглая, как я. На краю какой-то деревни с ней ночью столкнулась. Я, значит, к чашке, выставленной у дверей, подбираюсь неслышно, и она тож... Недели с четыре мы вместе с ней шли. А потом отделилась я от нее. Воровством она стала забавляться, принесла как-то ворох мужских портков, рубах... С веревки, значит, ночью где-то сняла. Ну ее, думаю... Воры средь варнаков тоже были. Ну, когда их ловили на этом, убивали до смерти. Да, ушла я от нее... Зиму где-то в норе земляной провела, чуть не замерзла, с голоду чуть не померла. Кору грызла, шишки всякие. Ну, силки ставила. Из проволоки – на зайцев, из волоса – на птицу. Научилась. Да что в них попадалось? Тяжко зимой беглым, вымирают они начисто... Я выдержала. Весной, как солнышко пригрело, далее я побрела. Да тут и прям попала в руки к стражникам.

– Как?! – тяжело, с болью вырвалось у Наташи.

– Как? Просто... К ручью, помню, вышла – жара меня сморила. Лицо ополоснула, потом к водице припала, пью... Оторвалась, чтоб ломоту в зубах перевести, а сбоку двое на конях. В белых форменках обои, и уж пашки вынули. «Сладкая, зная, водичка, бабонька? – спрашивает один. – Откуда ж путь держишь?» А чего откудова? По обличью видно, что варначка...

Старуха вздохнула, прикрыла глаза. Тонкая и ветхая кожица на веках подрагивала, будто Акулина плакала с закрытыми глазами. Но когда открыла их, глаза были сухи, только поблескивали острее обычного.

– Таково, доченька, дело вышло... Ну чо ж, пригнали меня стражники в какое-то село, пытаться стали, кто такова да откуда. Известное дело – дурочкой прикинулась, не знаю, мол, и фамилии не помню, хожу, мол, по земле, христарадничаю. Про каторгу Кару молчу, пусть, думаю, что хотят со мной делают, только не признаюсь. Да чего-о... В Иркутск-город пригнали как бродяжницу, не помнящую родства, и объявили, что дале, на остров Сахалин, погонят. В этап зачислили. А в Чите, в пересыльной тюрьме, вдруг объявили: «Ах ты мерзавка вшивая, да ты с Кары сбежала, с ампирасторских песков... И фамилия твоя такая-то, и срок тебе каторжный за убийство. Ну а теперь за побег, само собой, еще приварят вдвой, а то и больше. Да прежний отбыть надобно...»

Бабка Акулина минуты три затем молчала, смотрела в одну точку, пошевеливала губами, будто молитву какую читала. Наташа боялась ее тревожить, ждала.

– В той же Чите меня сызнова и судили... – Акулина вдруг усмехнулась. – Да что там! Они судят, а в голове у меня легко и весело как-то. Судите, думаю, а я все одно сбегу. Что мне теперь-то терять? Да... Только в мечтах-то все легко – и решетки железные раздвинуть, и каменные стены развалить. А оно вышло не так, не так, доченька... Больше десяти годков после этого осуждения томила я по разным рудникам да тюрьмам. В Нерчинске руду копала, в Горном Зерентуе. В Кару не попадала больше – слышно было, что прикрылась там каторга почему-то. Может, золотые пески иссякли, может, еще почему – не знаю. А в году – вот даже и не помню – может, году уж в девятисотом али чуть раньше пригнали меня в Акатуй. Что-то женщин-каторжанок тогда много сгоняли туда. Место, доченька, такое – тайга да сопки. Сопки да тайга. Боле ничего нет. Там я и встретила несколько товарок своих с Кары. Они-то и сказали, что в Каре каторга прикрылась. И потекли зима да лето, зима да лето. Счет зимам да летам на каторге сперва ведешь, а потом думаешь: а для чего? В году, может, девятьсот четвертом я опять сбежала...

– Опять?!

– Ага, – кивнула старуха. – Летом это случилось, под петровки где-то, В тот день я и не собиралась, а в беглых оказалась. Как получилось-то? Арестантское белье нас, баб, стирать гоняли на речку. Конвой кругом становится, а мы на берегу штаны да рубахи вальками колотим. Грохот стоит! Вот, значит, и я колочу. Жарища, оводы кусают, как звери. И гляжу я – арестантские штаны из кучки вывалились и поплыли вниз. Я шагнула за ними в воду. Ну, тут счас, когда такое что случается, окрик сразу да затвор ружейный щелкает – назад, мол, живо! А в этот раз тихо. Я головой крутнула – ближний солдат оперся об ружье свое, дремлет. Стою я по грудь в воде, глазом кошу и вижу – сбоку омут, над ним кусты свесились, за кустами голое речное пространство сажени в три, а там по берегу тоже конвойные стоят, хохочут. За этой речной прогалиной опять кусты с обоих берегов – речка небольшая, кусты почти смыкаются. И за этими кустами стражи уж нету. Я как-то враз, даже не подумав, что к чему, и присела, скрылась под водой. А как скрылась, тут уж в голову шибануло: что делаю-то?! Счас вынырну, булькнет вода, конвойный от дремы очнется и влепит мне пулю. Нас предупреждали: глубже, чем по колено, в речку не заходить. Были уж случаи, что уплывали из-под надзора прачки-каторжницы под водой. Да, были, доченька... И я вот под водой очутилась. Что делать-то, думаю?

– Я бы... я бы поплыла! – воскликнула Наташа.

– Ты, ты... – недовольно проговорила Акулина. – Это на словах просто. Пронырнуть кусты в полторы сажени, да голое пространство три сажени, да там еще... Попробуй, хотя и вниз по реке. А течение, как назло, в том месте ленивое. Да я к тому ж какое-то время потеряла, торчу, дура, на месте под водой и думаю. Воздуху-то уж в груди нету, а я еще на месте...

– И как же вы?!

– Не знаю... Не помню. Очнулась я уже за теми кустами. Стражники уж сзади хохочут. Все так же хохочут, отмечаю, значит, ничего не заметили. И как я пронырнула такой простор,

до седни ума не приложу. Почернела аж, должно, без воздуха-то я под водой, голову высунула, а внутрь будто кто горящую головешку кинул, все так жжет. Ну, жжет, глотаю я воздух вместе с водой, а пошевелиться боюсь: плесну погромче, услышат же – и смерть. Речка меня тихонько и несет. Отволокла подальше. Тут уж я кое-как, через силу, выползла на берег, отлежалась маленько на гальках. Горячая, помню, галька была, заснуть бы, думаю, на них навсегда. Где ж они, сволочи, чего не стреляют? Ну, думать-то я так думаю, а сама быстро на карачки встала да в тайгу юркнула... Вот так.

– А потом? – дав старухе передохнуть и успокоиться, спросила Наташа.

– Что потом? – с грустью откликнулась Акулина. – Так же, как в первый побег, кралась я тайком от села к селу, днем отлеживалась по глухomanным местам, по оврагам, ночью шла. Куда? А кто его знает? Все беглые каторжники из Сибири в сторону России, к Уралу, пробираются. Будто там спасенье.

– Как же вы дорогу в тайге узнавали?

– Чего ее узнавать? Россия – она в западной стороне, это всем известно. Куда солнышко садилось, туда мы и шли. Озера обходили, реки пересекали. Байкал-море было самой тяжелой преградой. Ну, кто как мог и его одолевали. Вот даже в песне поется...

– А вы как?

– Я? А я обошла его. Уж осенью, под зиму. И Иркутск миновала далеко-о стороной. А тут и зима накатила. Тут и погибель бы мне, кабы не человек один...

Старая женщина поглядела на Наташу и почему-то вздохнула.

– Кабы не человек... Да и ему погибель бы вышла, не наткнись я на него. Он, как и я, замерзал уж в снегу. Тожесть беглый, с самого Александровского централа ушел... Это он потом обсказал мне, когда мы... – Старушка вдруг запнулась, опустила блеснувшие глаза. И, разглаживая одеяло на острых коленках, закончила: – Когда мы оклемались обои маленько, отошли. Иваном его звали... зовут.

– Значит, он жив? – спросила Наташа.

– Живой... А тогда плох был, думала я, и не выживет. Медведь-шатун его поломал. Сильно поломал – снег вокруг него весь был кровью пропитанный. Его ли, медвежьей ли – не поймешь. И обои лежат рядом – он и зверь лесной. У медведя брюхо располосовано ножиком, кишки вывалились, пар от них идет... Я как наткнулась на такую картину, обомлела, попятилась было назад. Да он, человек тот, Иван, поднял голову, глядит на меня: откуда, мол, такое явление? А я до этого неделю почти шла голодная, во рту, кроме лесных шишек, ничего не было. И застудилась я – ведь оборванная, ободранная была, – голова который день как чугузная, горячая. Не знаю, зачем я еще шла куда-то, откуда силы брались? Иду по тайге, а в голове одно – приткнуться в снег, задремать, да и дело с концом. Кончатся, мол, разом все мучения.

– Я это понимаю, – вырвалось как-то само собой у Наташи.

– Ты понимаешь! – вдруг проговорила старая женщина строго. – Да ты дура голимая! Такое ли твое дело было, как мое тогда?! Да и я... Как призналась после Ивану об таких мыслях, он меня на чем свет обругал. «Дура, грит, ну и кому что доказала бы? Человек до последней силушки должен за себя стоять».

– Да, это правда. Это правда, Акулина Тарасовна, – после некоторого молчания произнесла Наташа. – Ну и что... дальше?

– Дальше что? – задумчиво, сама у себя, спросила старуха. – Попятилась я, запнулась об валежину какую-то, упала в снег. А человек, Иван, все глядит на меня. И улыбнулся вдруг... Вот, доченька, хоть верь, хоть нет, до седни эта его улыбка стоит перед глазами. Сколь годов прошло... Жизнь минула. А я помню. С ней и помру. Глядит и улыбается. «Откуда, грит, такая ты хорошая?» – «С Акатуя», – отвечаю. А сама на медвежьих кишки смотрю. Кровь еще с медведя течет, и в голову мне долбит – подползти и напиться этой крови, мяса сырого зубами отхватить. Да не смею. Он догадался об этом, спрашивает: «Который день не ела?»

Я говорю: «Четвертый, а может, пятый». – «Совсем ничего?» – «Совсем... Кедровые орехи жевала, правда». – «Ну, тогда, – грит Иван, – ничего, глотни медвежьей крови...»

Наташа при этих словах вопросительно приподняла лишь голову.

– А что ж... подползла к зверю, зачерпнула ладонью из брюха. Кровь уж загустела.

– Боже мой! Боже мой! – дважды воскликнула Наташа.

– Страшно? Али противно?

– Не знаю...

– Да, Наташенька. А я вроде слаще ничего до этого не пила, не ела. Ну, крови этой я с пригоршню выпила – голова еще шибче кругом пошла. Опьянела я и про Ивана забыла, покуда его голос не пробился, как сквозь стенку: «Тут овраг рядом, вон за теми соснами я там ямку вырыл, ночевал там... Отволоки меня как-нибудь туда, если сможешь...»

Во все это, что рассказывала старуха, Наташа теперь и верила и не верила. Бабка Акулина была худенькая, тощая, высохшая, трудно было представить ее молодой женщиной, трудно вообразить, что на ее долю выпали такие страдания, такая судьба. И Наташа непроизвольно воскликнула:

– Неужели... неужели так все и было?

– Так, доченька, – вздохнула слабенько старуха.

– Не может быть, не может быть!

– А было, – повторила она с какой-то грустью. – Как я отволокла этого Ивана в яму ту, не помню. Стонал только он громко, это помню. Спина и бок у него до костей были располозованы, правая рука вывихнута зверем. Это я сразу поняла и вправила, как в земную норку заползти. Кости выправлять меня еще мать научила. Подергала руку – он в беспамятство от боли ушел. А на лице капли потные. Что ж, думаю, отойдет. Покуда он в бессознании был, все тело обсмотрела. Оказалось, что и нога, до самого паха, тож когтями разорвана. Господи, что с им делать? И сама я вся в жару, в голову молотками колотит. Выползла наружу. Морозы уже не сильные, слава богу, стояли. Спички у меня были, разожгла кое-как костерок. Поплелась на то место, где его шатун ломал, – там я котомку вроде этого парня видела. Подобрала котомку – там тряпье какое-то, котелок, тужурка рваная, один почему-то сапог. И ножик... ну, обыкновенный кухонный ножик, с деревянной ручкой в снегу увидела. Этим, значит, ножиком на медведя-то! Кухонным. Скажи – не поверят. Вернулась к костру, натопила снегу в котелке, обмыла, как могла, его ранки, обвязала тряпьем. И тут сама в беспамятство провалилась. Чую, что проваливаюсь, а в голове сверкает: околеет ведь обои от мороза! Кое-как дыру в ямку тужуркой этой, ветками прикрыла... Господи, Наташенька! Да разве все расскажешь? Где и слов взять!

– А вы найдите! Найдите... – умоляюще прошептала Наташа.

\* \* \*

Воспоминания о прошлом разволновали старуху, она легла, натянула одеяло до подбородка, голову чуть повернула в сторону. Тоскливыми глазами не мигая долго глядела в черный проем окна. Там, в черноте, за мраком нескончаемых лет, было ее страшное прошлое, она, подумала вдруг Наташа, видит его сейчас ясно и отчетливо. И от этой мысли у нее потек озноб по всему телу. Страшно вспомнить все это, а каково пережить?! И где же было взять столько человеческих сил?!

Чувствуя, что с ней что-то происходит, и не умея еще объяснить этого, Наташа еще раз попросила:

– Найдите. Как же вы там, дальше?

– Да, что ж? Оклемалась я, а он еще турусит в беспамятстве. В жару пылает весь. Нет-нет уж открыл глаза, диким зрачком буравит меня во мраке. Потом, различаю, зрачок потеплел.

Узнал, значит, вспомнил... Ну что ж, стала я ходить за ним. Первым делом мяса медвежьего ножиком кое-как наскоблила, отвар сварила... Э-э, да что! И у него, и у меня силушки кончались, потухли обои, как сгоревшие головешки. А сошлись вот в тяжелой судьбе – зачಾದили кое-как, огонек-то снова и занялся... Медвежьим мясом спаслись. Ранки его я хвойным настоем промывала, распаренной березовой корой обвязывала. Березка, она великий лекарь, доброе дерево, на счастье людям дадено. Через месяц он встать начал... Ну, в общем, скоротали мы зимушку. У меня в узелке петли проволочные и волосяные были. Зайчишек ловили иногда, рябчиков... А по ранней весне, как травка пробиваться начала, мы и разошлись.

– Разошлись?!

– Ага, – кивнула старуха. – Он по политическому делу сидел, не могу, грит, больше в норе этой торчать, друзья-товарищи ждут. Норку-то жалко было покидать, обжили мы ее, раскопали пошире, печку из глины сделали, трубу из корья вывели. Внутри той же глиной обмазали – она, труба-то, славная получилась. Он, Иван, придумал, – улыбнулась Акулина Тарасовна. – Он на все руки оказался мастак. Маста-ак, славный...

Отсвет от улыбки долго держался на изношенном лице старухи, таял нехотя, медленно, – видимо, она вспоминала из того давнего что-то приятное, сокровенное. Наташа это почувствовала женским чутьем, отчетливо поняла, что спрашивать об этом ни в коем случае нельзя, это надо оставить только ей одной. И сдержанно, осторожно вздохнула.

Но этот неприметный вздох все равно смахнул с лица Акулины Тарасовны остатки улыбки, дряблые веки ее испуганно дрогнули. Она прикрыла глаза ладонью и долго держала руку на лице.

– А вместе... нельзя вам было идти? – спросила Наташа.

Проговорила и подумала, что и этого, наверное, не надо, нельзя было спрашивать, чтобы не оскорбить, не замарать то сокровенное, что почудилось ей за улыбкой старухи.

– А мы и пошли было вместе. Хотя, сказать, по одному-то беглым ловчее пробираться – где в щель юркнул, как ящерка, где в кусты заполз да затаился... Да Иван грит: «Ты меня не бросила помирать в беде, и я тебя не могу одну оставить в лесу. Пойдем вместе как-нибудь». Ну, пошли. Да недолго шли вместе-то. Через неделю, что ли, пошел он ночью в какую-то деревушку провизии добыть. Голод, он, говорится, не тетка. Меня в канаве оставил на краю деревни. «Сидя, грит, и жди. А ежели что, ты, Акуля, пробирайся к городу Новониколаевску. А доберешься – меня поспрашивай. Не в полиции, ясное дело, а у рабочих депо, на маслобойке поспрашивай аккуратно. Люди тебе укажут, ежели я там буду, я тебя никогда не забуду...» Да, так он и предупредил, будто чуял что. Деревушка та сплошь кержацкой оказалась. А кержаки беглых не шибко жаловали пропитанием-то. Чаше связывали – да к старосте, а тот – к стражникам, к уряднику. Сижу я и жду. Потом слышу – сполох в деревне. Сердце так и екнуло – попался! Крики всякие, собачий лай поднялся. И все это пошло, удаляться стало за другой край деревни от меня. Господи, соображаю, да он же от меня их уводит? Ну, тут соображать нечего, надо мне от этой проклятой деревни подальше, в таежную дебрь. Сорвалась я, да и потекла...

– А его... поймали?

– Нет... Да я тогда не знала. Ну, отлежалась, как волчица загнанная, в глухом урмане где-то. Что ж дальше-то? – думаю. Что с Ванюшкой-то? На другую ночь вернулась в ту канавку – может, там он меня ждет, коли его не поймали? Нет, никого нет... До свету пролежала там. Вокруг темно, как в гробу, в деревушке ни огонька, ни проблеска, собаки только взлаивают время от времени. На лесного зверя, может, али на какого запоздавшего жителя той же деревни. А голод в брюхе дырку уж проточил. Что ж, думаю, ждать-то, Ивана, может, уже и заковали в железо снова. На рассвете, значит, выползла из канавы и поплелась куда глаза глядят... «Пробирайся, – сказал мне Иван, – к Новониколаевску». А где он, тот Николаевск? Ладно, думаю,



не сдохну с голоду, так поспрашиваю, в какой он стороне... Ну, и правда, добрые люди указали. Не все кержаки, в тайге много, сказывала я, добрых людей.

– И что ж, встретились там с Иваном?

Веки старухи опять дрогнули.

– Н-нет, дочушка... Не дошла я до Николаевска. Совсем маленько, а не дошла.

– Опять... стражники схватили?

– Не стражники. Такое дело, доченька, вышло, как бы тебе половчее об-сказать... Судьба как речка: течет-течет прямо да заворачивает... Конец весны да лето и осень всю я, значит, шла по тайге прежним манером. И опять зима подкатывает, мухи белые полетели. Теперь-то уж, думаю, я погибну беспрременно. Оборвалась я по тайге, обремкалась до голого тела. На ногах-то еще ничего, лыка надрала с осин, что-то навроде лаптей сплела. Юбочки на мне, считай, нету, одни лохмотья. Пиджачишко был, прожженный весь, на голом теле. Ну как я, куда я? А все ж иду, ноги несут куда-то. Куда б дошла, неизвестно, да, на счастье, уткнулась в избушку шишкобоев. Гляжу, стоит она на полянке, дверь доской заколочена. Два али три колота валяются, брошенные, снежком уж их присыпало. Колот, знаешь, что такое?

– Нет.

– Ну, бревно такое с пластиной. В кедровый ствол колотят им, чтобы шишки обсыпались... Чего ж мне делать? Покружила я вокруг избушки, как зверь. И решилась. Шишкрбои, думаю, отшишковались да ушли, до другого лета не придут, что им зимой тут делать? Отодрала я доску с двери... Избушка славная, прибранная, в шкапчике я и сухари, и соль нашла, и спички, и пшено в березовом туеске. Посуда кое-какая тут же. На стене одежонка висит таежная – дождевики, тужурки, мятые рубахи вроде. Господи, думаю, бывает же на свете такое богатство! В той-то избушке и нашел меня он... Козодаев Филат Филатыч.

– Филат Филатыч? – Наташа собрала морщины на лбу. – Где-то слышала это имя.

– Да чего ж, на работе, должно. Он сейчас плоты на завод ваш по Громотухе сплавляет.

– Верно. Что ж вы никогда не сказали, что знакомы с ним?

– Знако-омы... – протянула старушка. – Мужик это мой. Муж законный.

Огорошенная, Наташа сидела теперь на табуретке у стола и во все глаза глядела на Акулину Тарасовну.

– Но почему тогда... не вместе вы?

– Так я и говорю: течет-течет речка да заворачивает. А на завороте Лукерья Кашкарова обозначилась с двумя приемышами... Уж годов боле двадцати мы с ним не живем.

– Кашкарова? Это та старуха, чей дом рядом с Савельевым?

– Она не всегда старухой-то была, – усмехнулась Акулина Тарасовна. – Не всегда-а. Красивая она была баба в молодости, телом играла. И вот...

Наташа с нескрываемым изумлением все глядела на старенькую бабку Акулину.

– Что ты смотришь на меня этак? – проговорила старушка. – Жили-жили мы с Филатом да разошлись. В житействе обыкновенное дело... Он, Филат-то, недавно, годков пять назад, еще до войны, приходил ко мне. «Давай, грит, старая, все забудем да крышу одну и будем чинить над головой, коли прохудится». Не легло сердце... Да и людей-то чего смешить?... А любовь у меня с ним была-а! За все отогрелась. С того самого дня и отогрелась, как возник Филат на пороге той избушки... Как счас помню – только-только я печурку раздымила, похлебку каку-то приставила, а дверь и отмахнулась. Он стоит в проеме белом, молодой, крепкий... Он и счас, как сутунок лиственничный, не трушится от годов-то, не гниет, язва. А тогда... Глаза его щелястые режут, а мне не страшно. Свет такой хороший в них. «Ишь ты, говорит, фатерщица объявилась на моей избушке. Гляжу, грит, следки человечьи намараны по снежку. Потом, грит, гляжу – дым с избушки. Кто такова? Как звать?» – «Акулина», – говорю. «Ишь ты, смеется, Акулинка, ягодка-малинка. Не ел ишо, а во рту уж сладко. Штаны-то зачем мои натянула?» – «А нету, говорю, юбки у меня». – «А-а ну, тогда рассказывай... Варначка

ты, что ль?» Ну а чего ж отпираться? Рассказала все. И кто такова, и за что на каторгу угодила. Чаем его с брусничным листом напоила. Пою его чаем, а сердце так и стучит – он это, судьба моя, ей-богу, он! А он напился чаю, взад-вперед прошелся по избушке, остановился, раздел меня глазищами-то острыми до наготы прямо. Аж, чую, всполыхнула я вся жаром... «Ничего, грит, ты, отошала только, в бедрах-то обвяла... А ежели вот я счас поваляю тебя спиной по полу, тоже приткнешь за шею к чему-нибудь?» Хотелось мне сказать, девка, – не приткну, куда мне теперь, жизнь меня самую приткнула, делай ты что хочешь со мной. А вымолвила другое. «Приткну, говорю, али зарежу». Он усмехнулся хищно. «Ну ладно, грит, варначка, пошел я...» А куда? – опять же думаю. Кликнет людей, свяжут меня, да и вернут с бегов в каторгу. Да нет, думаю, сам бы справился с этим делом, один... Дня три так прожила, на четвертый гляжу в оконце – прет он на лыжах. На санках за собой стреляного лося волочет. Выскочила я ему навстречу – да на шею, заплакала. А он: «Вот, бегляха, пировать счас будем да свадьбу делать». – «Как, кричу, свадьбу?» – «А что ж, – блестит он глазами, – мяса, где положено, нарastим тебе, бумаги всякие я выправлю тебе тож... И обвенчаемся к весне, уедем ко мне в деревню Облесье, тут всего верст за двадцать. А пока – так, а? Поверишь?» – «Поверю, говорю, поверю, родимый...»

Старуха совсем разволновалась, последние слова выговорила с трудом. У Наташи стояло сердце, она сидела и думала, что судьба этой Акулины чем-то напоминает ей собственную, только еще горше она и страшнее, что все на свете повторяется не раз и не два. И неужели... неужели такая судьба будет и у Леночки вот, беспомощно лежащей сейчас в кровати? Зачем тогда на свет ее она родила в муках? Или у другого... такого ребенка? Нет, не должна такая судьба повторяться! Солнышко должно светить людям, правильно бабушка сказала.

– Может, спать, дочушка, ляжем? – спросила старуха. – Ложись сднн пораньше.

– Я на почту еще пойду. Я хочу телеграмму отцу...

– А-а, ну что ж... Можа, и надо. Все разъяснилось чтобы. Это конечно...

– Я вот удивляюсь вам... – проговорила Наташа, помедлив. – Такая вот жизнь у вас... тяжелее и не придумаешь. А душа не очерствела. Как это объяснить?

– Э-э, родимая! Не то говоришь-то, – сказала старуха тихо и раздумчиво. – Нет, не то, касатушка. Поп Филипп у нас на каторге был... всех каторжанок по очереди в прислуги себе брал. Вдовый он почему-то был. Вдового попа на каторге только и сыщешь. А пьяница-то – не приведи господь! И двое мальчуганов у него было годов по пяти-шести. Вот он и брал к ним каторжанок. Это там просто было. Договорись со смотрителем женской тюрьмы – и все дело. А какая ж не пойдет! Все шли, ждали, не позовет ли поп, перед смотрителем Ободьевым на коленки валилась каждая, чтоб ее направил. Ба-альшой приплод от попа на каторге был... И любил он говаривать, поп Филипп: «Страданиями душа человеческая обчищается». Оно так, может. Да не совсем. Я думаю, не только обчищается... Горе-то, горюшко доброты человеку к людям прибавляет.

– Значит, чтоб душу очистить... чтоб доброты прибавилось, надо через нечеловеческие страдания пройти?

– А что ж, – сказала серьезно старушка. – Не вкусив, не почувствуешь. А почувствуешь, так и врагу не пожелаешь. Хотя кто его хочет, горюшка-то? Да ведь земля под тучею, а туча-то гремучая. Ох, устала я с тобой балакать...

Акулина Тарасовна потыкала высохшей рукой в подушку, прилегла. Голова ее была настолько легкой, невесомой, что на тугой подушке не обозначилось даже вмятинки.

– Ступай на почту, коли уж... А то совсем обночилось.

– И повенчались вы с Филатом Филатычем потом? – спросила Наташа.

– Да что ж, конечно. Документ он мне выправил, к исправнику в Шантару ездил... Да-а, стали жить, стала я в радости купаться, – говорила старуха медленно, глядя в потолок. – «Вишь, – говорил Филат Филатыч, – человек от человека греется...» – «Истинно, говорю, роди-

мый...» Дитев только у меня не было. Год живем, пяток летов – нету, и все. То ли эти, в омшанике, чего нарушили, то ли каторга надорвала. Помыла я золотца на Каре-реке, переворочала песочка мокрого лопатой! Все женское-то внутри оборвала... И зачал мой Филат по бабам свистеть. Кончилась моя радость, значит. А я что ж? Молчу – чего уж там, куда мне. А он одно с ухмылочкой теперь: человек, дескать, от человека греется. Вот, значит, какой теперь смысл... Ребяенок, слышу, у вдовы одной родился от него. Плачу я только. Потом, слух прошел, в деревушке за Облесьем еще какой-то приплод у него, козла, объявился. Ну, это я все терпела... А тут вскорости, значит, зачалось в мире-то... забродило, как пиво в логушке. Царя скинули. Кафтанов этот, властелин тутошний, рысью зарыскал в круговом огне... Видала, как рысь по деревьям мечется, когда лес горит? Нет? Ну конечно, не таежная жительница. Вот так и он... Филат мой от всего этого в стороне, нас, грит, это не касается, пушай они дерутся... Да как не касается? Хучь тайга вокруг Облесья немеряная, а и в ней не скроешься. Прискакивают, бывало, партизаны вот теперешнего начальника-то партийного, Кружилина Поликарпа. Он тут партизанами-то верховодил.

– Я знаю, – сказала Наташа.

– Ага... Объявляется и требует у Филата: проводи через белки, через перевал. Филат каждое дерево в тайге знает, каждую тропку. Ну, он за шапку и ведет. А следом, бывало, каратели объявляются. У них тоже был начальник такой, али командир, по-военному... Зубов по фамилии. Большой полковничий чин он уж носил...

Акулина Тарасовна вдруг привстала торопливо, глянула на Наташу почему-то хмуро.

– И его знаешь... Зубова-полковника?

– Нет, откуда же! По рассказам только. Анна Михайловна, мать Семена, мне рассказывала... будто тот Петр Зубов, бандит этот, который у Огородниковой Маньки был, сын того полковника.

– То-то и оно, что сын, – горько произнесла старуха, на несколько мгновений умолкла. Затем, сглотнув тяжелый комок, чуть изменившимся, как-то погрузневшим голосом продолжала: – Ладно, слушай дале, раз я начала... Ну, значит, заявляваются каратели, опять же грозятся: «Где партизаны? Веди!» Берет Филат шапку...

– И их водил?! – воскликнула Наташа. – Карателей?

Акулина Тарасовна неслышно и мягко опять легла, прикрыла плоскую грудь пестрым одеялом.

– Води-ил, а куда денешься? Коли наганом в рыло тычет...

– Но это же... – Наташа не договорила, захлебнулась в гневе.

– А ты ему, как увидишь, это и выскажи, – усмехнулась старуха. – Чего на меня-то?

– И выскажу! И не только ему!

– Поликарпу? – Старуха повернула к Наташе легкую голову. – Да он и сам все знает. Эх ты, горячуха... Жизнь-то человечья речка вековая. Весной, бывает, разольется речка, берега затопит, дома снесет... Громотуха счас обмелела почто-то, а ране, бывало, целые деревни с берегов слизывала. Что же, за это ее надобно запрудить, камнями завалить, под землю схоронить с лица земли?

– Не об том вы говорите! – возразила Наташа. – Это стихия... И вообще – при чем тут река? О человеческих поступках речь.

– Ну да, об человеческих, – согласно проговорила старуха.

– А они бывают благородными, а бывают подлыми!

– Это тоже верно, – кивнула старуха. – Вот много подлых-то я поступков от Филата моего перенесла. Взял-то он меня вон какую, от властей прикрыл, ладно уж, все думала... А вот одного дела его не вынесла... И сбежала от него из Облесья. Сюда вот. Сколь годков уж одна тут живу, люди-то и считают меня бобылихой.

– Какого же поступка?

– Петьку-то Зубова, бандита этого, мой Филат, считай, вырастил.

Наташа даже привстала невольно.

– Да ты сядь, чего уж, все по порядку доскажу... Значит, как произошло? Кафтанов-то, отец-то Анны Савельевой, живодером оказался – не приведи господь, тоже свой отряд собрал, за Кружилиным гонялся по лесам вместе с тем полковником Зубовым. А малолетнего сынишку своего Макарку с Лушкой Кашкаровой к нам в тайгу доставил, велел их Филату спрятать в лесных глыбях и, значит, оберегать. Ну, он и оберегал... И в той избушке, где меня нашел, жила она, и в других. У Филата их много по тайге было. Да и счас есть. Вот, значит... И жил он с Лушкой напропалую. С другими – ладно, помакает в блюдо да бросит. А к этой прикипел. Я-то венчанная и, значит, как бы там ни то, от бога, а с ней – так... Две жены, значит, у него стало как бы. Приедет в Облесье, поживет со мной – да в тайгу на неделю... Потом слышу, Зубова-полковника где-то прикончили, я помолилась за упокой... А Кафтанов прислал к Лушке его сына-малолетку, Петьку этого, который в вора-бандита теперь по тюрьмам вырос.

Акулина Тарасовна потихонечку, будто боясь, что услышит Наташа, глотнула воздуха и затихла. Наташа водила пальцем по столу, выписывала какие-то знаки, молчала. Опять вспоминалась, как наяву представилась, ей та кошмарная ночь у Огородниковой и этот Зубов Петр со страшными, какими-то зелеными, кошачьими глазами, пронизывающими насквозь.

– Она, Лушка, и растила их обоих – Макарку да Петьку. С помощью вот моего Филата, – обиженным голосом проговорила старушка. – Все уж кончилось, Кафтанова самого прибили давно, и давно война гражданская притихла, колхозы начались, а Лушка все живет поблизости, все топчется вокруг нее Филат... Сколько я слез выплакала, кто б измерил! Ведра целые... А через край плеснулось, когда первый раз этого Петьку Зубова заарестовали. Магазин он какой-то обчистил. Стали судить его в Шантаре. Поеду-ка я, думаю, в Шантару, гляну на Петьку. Ведь я ни разу не видела его. Походит, мол, нет на отца-то?

Наташа удивленно приподняла голову.

– А что вам с того?

– А вот и что! Глянула – вылитый он отец, Викентий Зубов, который полковником стал...

Наташа, еще ничего не соображая, снова поднялась и застыла столбом.

– Что... вы хотите сказать?!

– Я не хочу, я сказала, дочушка. Жизнь такие петли выписывает... Энтот полковник – тот самый... который меня и ссильничал в омшанике тогда вместе с братом своим Евгением-то. Вот... младший сынок, значит, нашего ярославского барина... Как только он объявился у нас в доме в Облесье, я так и обварилась кипятком: вот она, судьба неминуемая! С каторги ушла, в тайге зверем жила, все вынесла, не потушил господь зрачки... А счас момент – и все! Поднимет наган-то, да и... Что ему теперь, суда никакого не надо. Сразу я его узнала. Господи, рвется у меня в мозгу, в такой дыре сошлись, где жизнь свела! И чую – туск в глаза наваливается, заплывает все перед взором. И слышу его голос: «Что, дура, уставилась? Ненормальная, что ли, она у тебя?» Это он уж к Филату. А тот: «Болезная, ваше благородие, так точно, пурга в тайге прихватила пять годов назад, три дня под снегом пролежала, мозги-то, видать, и подморозило, с тех пор и маюсь, рад бы избавиться, да баба же, а бог не прибирает... Пошла прочь, дуреха!» Хихикнула я и в самом деле по-идиотскому, да и пошла. Не узнал он меня, на счастье. Ох ты господи, думаю, есть ли ты, нету ли – спасибо тебе!

– Да-а, – только и протянула Наташа, упала обратно на стул. – Невероятно...

– Немыслимо, – кивнула и старушка. – Да что ж... Всяко бывает. Каких-каких только событий не приключается. Земля, она ведь и большая, да махонькая. И все теснее на ней. Оттого, наверно, и войны бесконечные, а? Чтоб людям посвободнее потом было...

– Да вы что? Тут причины другие... сложные.

– Ну, да это я так. Оно конечно... А я, значит, как глянула в суде на Петьку Зубова, так и охолодела – вылитый отец! Ну и... осело у меня что-то внутри. В мозгу одно колотится:

Филат же вырастил его, помог вырасти, знал же, чей это сын... говорила ж я ему про Зубова-полковника, что тот это Викентий. «Так что ж, отвечает, я его кокнуть должен? Я ни одного человека не убивал, слава богу, с тем и век проживу. А ты на глаза ему боле не пялься...» Все простила я Филату, всех баб, и Лушку... Что ж, думаю, коли козел? А вот этого – не могла. Чую, что не смогу больше жить с ним под одной крышей... «Купи ты, говорю, мне какую-нибудь избенку где-то да освободи. Благодарная я тебе до гроба за все и словом лихим не помяну...» Сверкнул он узким глазом, да и сказал: «Ладно, Акулинка, ягодка-малинка. Тем больше что замучил я тебя. Третий сын у меня ведь родился в деревне Казанихе. Прости ты меня, грешного...» Вот с тех пор я и живу в Шантаре одиночкой, доченька.

Старуха, измученная всплывшим в памяти прошлым, вздохнула, умолкла, стала опять глядеть в потолок. В глазах ее, помутневших от времени, вроде и ничего не было – одна бессмысленная пустота. Но, приглядевшись, Наташа поняла, что это не так. Глаза старой и ветхой женщины были просто очень устали, в них стояла неизбывная теперь грусть по жизни, пускай сложившейся для нее так трагически, но уже уходящей безвозвратно в вечность. В ее глазах, в ее лице и во всем облике этой старухи Наташа словно бы снова прочла все то, о чем она только что рассказывала: были у этой женщины невообразимые страдания и муки, но было и солнце, которое щедро грело ее в самые тяжелые минуты, были запахи свежей весенней земли, трав и цветов, которые волновали и заставляли свободно биться сердце, встречались и люди добрые, которые искренне делились с ней теплом своей души и скудно отпускаемой кем-то во все времена человеческой радостью. И Наташа подумала: как бы ни горька была порой жизнь, прощаться навсегда с солнцем, землей и людьми человеку грустно и тяжело, и это какая-то чудовищная дикость, что каждому с этим приходится рано или поздно прощаться...

– Ну а тот, Иван... виделись вы с ним потом когда-нибудь? – сам собой вырвался у Наташи вопрос. И на этот раз она не испытывала сожаления, что спросила: каким-то чутьем чуяла, что теперь этот вопрос не обидит, не оскорбит старушку.

Акулина Тарасовна медленно повернула к Наташе голову.

– А как же? Видела. – Помолчала и еще раз сказала: – Видела.

– Кто он, если не секрет? Где живет?

Старая женщина на это улыбнулась улыбкой легкой, светлой и благодарной. Но отвечать не стала.

\* \* \*

Ночь над Шантарой была уже плотная, когда Наташа вышла за хилую оградку, окружающую избенку бабушки Акулины, и медленно побрела к почте вдоль мертвой и глухой улицы, раздумывая о нелегкой судьбе этой женщины, снова и снова поражаясь ее доброте, незлобivosti, ее рассуждениям о смысле жизни на земле. «Сколько ж вы перенесли-то! – само собой и не первый раз, кажется, вырвалось в конце ее рассказа у Наташи. – Это лучше б не родиться! Для чего, для чего?» – «Чо мелешь-то, неразумная! – с досадой ответила старуха. – Не от нас зависит родиться, не родиться». – «Я не об этом, я... о смысле жизни вообще...» – неумело выкрикнула Наташа. Но старуха мысль ее поняла, помолчала и тихо, будто только сама себе, ответила: «Так что ж смысл? Кровь-то человечья, да слезы, да пот людской – это для земли, может, как керосин для лампы? Есть – горит, нету – потухла...» – «Что вы говорите! – протестующе воскликнула Наташа. – Этот керосин... совсем другой! Человечья улыбка, человеческий смех! И вообще – радость, счастье...» На это старуха усмехнулась: «Да кто спорит, доченька! Только на земле и того, и другого в достатке. И не даром то день, то ночь, то солнышко, то непогодь... О-хо-хо, Наташенька, вот и выходит, что смысл этот тоже мудреная штукавина. Может, богу одному и ведомый. Да только ить и бога-то нету. Одни мы, люди, и есть... И нам вся эта жизнь и предназначена. Какая она ни есть. И нам надо понимать, в чем ее керосин...»

Проходя мимо дома Маньки Огородниковой, которая сидела сейчас где-то в тюрьме за укрывательство ворованных Макаром Кафтановым товаров, Наташа с жалостью вспомнила эту круглолицую, полную, с большими и тяжелыми грудями молодую женщину, которая спасла ей жизнь. Говорят, она сама пришла в суд, когда судили Кафтана, Зубова и Гвоздева, все сама рассказала. И еще кто-то слышал будто, как этот Петр Зубов, когда Огородникова села рядом с ними на скамью подсудимых, прошипел сквозь зубы: «На коленки добровольно встала? Ну и подыхай... Выживешь в тюрьме – Макар тебя после прирежет».

«Они прирежут! – со страхом и омерзением думала Наташа. – Зачем уж ей было говорить, что она прятала ворованное? Ладно бы уж, ведь не добровольно же, этот ужасный Макар ее заставил спрятать, угрожал... Но и тут опять эти странные слова Зубова: "На коленки встала?" Хотя что ж, у них, у бандитов, своя мораль, свое понятие всяких вещей...»

Огородниковой дали, кажется, два года, в дом ее вселили какую-то многодетную семью с завода. Наташа часто видела во дворе орущих на разные голоса ребятишек, а сейчас возле дома, как и повсюду, было тихо, но дом, как другие, не казался мертвым, потому что одно окошко чуть подсвечивало, и Наташа поняла, что мать этих ребятишек, уложив всю семью, еще доделывает какие-то свои бесконечные дела, а может, ждет с завода мужа – вот-вот должна была кончиться вторая смена.

Очутившись у почтового деревянного барьерчика, Наташа долго не могла сочинить телеграмму. Она написала шесть слов: «Москва, Наркомат боеприпасов, Миронову Александру Викторовичу», – а что писать дальше, не знала, стояла в задумчивости и кусала кончик старенькой ученической ручки.

– Что же ты? – буркнула усталая работница почты, чем-то похожая на Веру Инютину, такая же острозубая, с кудряшками. – Напряглась, будто родить собираешься. Давай скорей, а то мы закрываемся. Ведь полночь...

Наташа сердито глянула на женщину, постучала ручкой в стеклянную чернильницу-непроливашку, быстро написала первое, что пришло теперь на ум: «Папа, это я, Наташа, а если это ты, почему молчишь? Ведь наш парторг Савчук тебе говорил, что это я. Позвони, ради бога, к нам на завод или напиши по адресу...»

Наташа быстро вывела адрес и протянула бланк приемщице телеграмм, та долго читала, шевеля губами, как безграмотная, потом подняла удивленное лицо.

– Ты что, девка, это чепуховину такую? Это ж как понять?

– Ах, ну, как вам объяснить? Мой отец он... А может, это не он.

– Он, не он... Чего такое приключилось?

Сзади скрипнула дверь, кто-то вошел, протянул через барьерчик руку и выдернул из руки приемщицы бланк.

– Это что такое, гражданин?! – воскликнула приемщица. – Дайте сюда телеграмму! Верни сейчас же! Хулиган! Чего позволяете?

– Я не хулиган, а Юрий Антонович Савельев. Здравствуй, Наташа. Минуточку... Тут все правильно. Ее отец был...

– Юрка! – воскликнула Наташа. – Не смей! Ничего он не был, понятно?

– Я и говорю, Наташа... – И опять к приемщице: – Они были разлучены войной. Теперь вроде отец ее отыскался, в Москве работает. Так ей сказали. И вот она... Эмоции, конечно, но все понятно.

– Хулиган, право слово... – Приемщица отобрала у Юрия телеграфный бланк, опять прочитала, шевеля губами. – Эмоции... Хотя эти «ради бога» вычеркните. Телеграмма все же.

– Да вы сами, – попросила Наташа.

Потом они вдвоем с Юрием вышли из почты. Мимо толпами валил народ, стоял галдеж, вспыхивал временами смех. С завода шла закончившая работу смена. Голоса слышались и с

соседних улиц, и вообще вся ночная Шантара, только что дремавшая, казалось, в непробудной тишине, ожила, повсюду в домах загорались огни.

– Я смотрю – ты на почту зашла, – проговорил Юрий. – Постоял, подождал. Что-то ты долго. Думаю, надо хоть поздороваться.

Наташа шла молча, сильно наклонив к земле голову, шагала быстро и все прибавляла, прибавляла шаг. Юрий не отставал.

– Ну что тебе надо от меня?! – вдруг резко остановилась она. – Мне бегом бежать, чтоб ты отстал?

– Я б догнал, – проговорил Юрий, опуская виноватые, словно побитые, глаза.

– Я ж тебе все давно сказала...

Юрий был в чистом рабочем комбинезоне, от него пахло металлом, станком.

За минувший год он нисколько не изменился, казался все таким же долговязым, словно двадцатилетним парнем, смешливым и беспокойным, все так же гулял у него, видимо, в голове «ванька-ветер», как выразилась однажды заведующая заводской столовой Руфина Ивановна. Только временами на него находило, когда он разговаривал с Наташей, непривычная серьезность, и тогда он чувствовал себя неловко, то и дело переступал с ноги на ногу и будто не знал, что говорить.

Наташа боялась такого его состояния, догадывалась, что с ним, старалась наедине не встречаться.

Раза два-три, когда она работала еще в столовой, он спрашивал ее о Семене, часто ли пишет, и, выслушивая скупые ее ответы, искоса, стыдливо как-то, бросал взгляды на ее тяжелеющий живот.

Когда она была уже в декрете, он заявился однажды к ней домой, принес неизвестно каким способом добытые яблоки – много, целую авоську.

– Витамины. Полезно будет ребенку.

– Зачем? Не надо, – сказала Наташа, все же благодарная.

– Чего там...

Бабушки Акулины дома не было, она приболела и уплелась в больницу. Юрий сам вымыл над тазиком два яблока, подал Наташе.

– Спасибо, – сказала она, смущаясь своего огромного теперь живота.

И вдруг Юрий упал на колени, обхватил этот живот длинными руками, прижался к нему лицом. Наташа визгливо, по-бабьи, закричала, уронила яблоки, изо всей силы принялась отталкивать Юрия, за волосы оттягивала обеими руками его голову прочь, а он, не выпуская Наташу, целовал сквозь ситцевый халат ее тугий живот и лихорадочно бормотал, как обезумевший:

– Наташа, Наташа... Люблю, люблю тебя! Это не Семкин, это мой ребенок в тебе, это мой, мой...

Наконец она все-таки вырвалась из его цепких и сильных рук, отбежала прочь, давась обидой, гневом, рыданиями.

– Как не стыдно! Ведь Семен твой брат... родственник...

– Пускай! Я ненавижу его, ненавижу...

– Замолчи! – яростно закричала она, собрав все силы, какие могла собрать. И ухватила сама за живот, чувствуя, как от крика он весь наполнился режущей болью.

От этого крика Юрий осел, съежился и, как побитый, побрел к дверям. Ей стало его жалко.

– Слышишь ты, Юрка, – сказала она жалостливо вдруг, забыв о боли в животе, подошла к нему, положила обе руки на его плечи, от чего он сжался еще больше. И, будто чего-то вымаливая, проговорила: – Я Семена люблю. Больше жизни. Ты это можешь понять?

– Понимаю.

– Если даже... если даже с ним случится что на войне, я, если от горя не помру, буду ему верна до старости... до самой смерти! Никого у меня больше не будет. Никого мне не надо. Понимаешь?

– Нет, – сказал на этот раз Юрий, глядя на нее действительно непонимающими, изумленными глазами.

– Все равно... Тогда запомни хоть. Иди.

Он ушел, больше Наташа не видела его до самого рождения Леночки. Когда выписывалась из роддома, он пришел туда вместе с матерью Семена Анной Михайловной, бабкой Акулиной и, когда Наташа вышла, а нянечка подала Анне Михайловне ребенка, потребовал:

– Покажите мне.

Наташа сдвинула брови, на исхудавшем, измученном лице ее проступила тревога, будто она была виновата в чем-то страшном, и вот сейчас Юрий произнесет свой приговор, признает ребенка за своего при всех, и тогда... Ее даже опалила мысль: «Неужели он решился на такой чудовищный поступок?!» Но Юрий ничего не сказал, между ним и бабушкой Акулиной просунул свой крючковатый нос Колька Инютин, неизвестно как и зачем здесь очутившийся, и проговорил довольноно:

– Вылитый Семка! Надо же!

– Это девочка, Николай, – сказала Анна Михайловна.

– Чего-о? – разочарованно протянул Колька. – Тоже мне...

– Бесстыдник! – прикрикнула Акулина Тарасовна. – Чего те тут? Ступай-ка.

После, когда Наташа перешла работать секретарем к Нечаеву, Юрий, встречая ее где-нибудь на территории завода, первым делом спрашивал, как здоровье Леночки. Первым и последним, потому что Наташе было это неприятно и она торопливо отходила, чувствуя, что он обиженно глядит ей вслед, и понимая, что обижает его напрасно.

...Голоса, затихая, доносились со всех сторон, то с близких, то с отдаленных улиц, окон зацветало все больше, будто сейчас была не полночь, а приближался рассвет. Они погорят немножко, думала Наташа, люди, вернувшиеся со смены, торопливо поужинают и, усталые, лягут спать. Одно за другим окна будут гаснуть, и вскоре все большое село, как измотавшаяся за день хлопотливая хозяйка, вскочившая, чтобы встретить и накормить работников, снова будто приляжет и задремлет. Сон будет крепкий, но непродолжительный, через несколько часов уже прольется рассвет, потом опять зацветут окна, но на этот раз от веселых солнечных лучей, которые тугими снопами ударят в стекла из-за каменных круч Звенигоры. А вскоре свежий утренний воздух расколет знакомый и всегда волнующий, до боли щемящий сердце звон Кремлевских курантов, и с площади перед сквером Павших борцов революции, где укреплен на столбе радиодинамик, на все село разнесутся отчетливые слова диктора: «От Советского информбюро...»

Так начнется новый день, который будет не легче, чем вчерашний.

– Ты знаешь, Наташ... – Юрий, глядя вниз, колупнул носком грубого рабочего ботинка землю. – Я на фронт уйду.

– Ты?! – невольно воскликнула Наташа, сразу же пожалев, что этот возглас вырвался.

Юрий скривил обиженно губы.

– А ты что же думаешь, одному Семену положена такая честь?

– Почему одному? Там миллионы...

– Ну да, это я глупость сказал. Боже мой, сколько вообще человек делает глупостей!

Наташа пошевелила бровями, помолчала и вдруг резко и безжалостно сказала:

– А знаешь, Юра... не верю я в твою искренность.

Он усмехнулся, теперь кисло и едко.

– Почему же?



– Ну вот... не похож ты на отца. Совсем не похож. – Она помолчала и добавила все тем же безжалостным тоном: – Не знаю я, почему ты на фронт решил... Мог бы и не идти, есть такая возможность. И тебе не хочется. Потому что ты боишься...

– Ты соображаешь... – Он схватил ее за плечи сильными, привычными к железу руками, затряс. – Соображаешь, что говоришь?!

Неподалеку от того места, где они стояли, горела на столбе электрическая лампочка, свет едва доставал до Наташи и Юрия, и в полумраке бешено сверкали его глаза, а на простоватом, обычно добродушном лице проявилась, отчетливо проступила жестокость.

– Оставь меня! – вскрикнула Наташа, сбросила руки его со своих плеч. – Вот... теперь ты на себя похож. Такой... такой ты и есть.

– Какой?!

Оба они тяжело дышали.

– Душа у тебя черствая и жестокая.

– Спасибо, – выдавил он сквозь зубы, отвернулся. Большие и сильные его плечи торчали как-то одиноко и сиротливо. И это опять вызвало у Наташи чувство жалости. «Да что это я на него? – сама собой пришла к ней сочувствующая бабья, как она все же понимала, мысль. – И в самом деле он сирота».

– Прости меня, – сказала она негромко. – Может, я не права, Юра... Прости.

– Что уж там... Валяй дальше. – Он по-прежнему стоял к ней чуть боком. – Все равно последняя у нас с тобой... пресс-конференция. Задавай всякие вопросы...

– Мать как же твоя будет одна? – спросила Наташа, будто и в самом деле решила воспользоваться его разрешением, и, спросив, тотчас поняла, что вопрос неловкий и, может быть, неуместный по всему ходу и смыслу получившегося у них разговора.

– Она как-то лучше чувствовать себя стала. На работу даже устраивается. В районную библиотеку.

– Что ж, очень хорошо... Я пойду, Юра, мне пора.

Он повернулся к ней, поймал ее взгляд и долго не отпускал. Она испугалась мелькнувшей вдруг мысли, что он сейчас возьмет ее за плечи, прижмет к себе и начнет целовать, и сделала шаг назад.

– Ты знаешь, – усмехнулся он невесело, – мне было семь лет всего, даже меньше, седьмой, кажется, только шел... когда меня пытали враги революции.

Это «враги революции» прозвучало как-то неестественно, может, даже напыщенно, но Наташа, удивленная, этого не заметила.

– Как это... пытали? – выдохнула она.

– Обыкновенно. Как пытаются? Били жестоко, я помню... На глазах у матери и отца. Чтобы у них какие-то сведения вырвать... Это было в 1918 году в Новониколаевске, в белочешской контрразведке. Допрашивал какой-то Свиридов, длинноносый, помню, с дряблыми щеками. Я все помню...

– Юра... – Наташа невольно подалась к нему, невольно схватила за руку. – Я не знала.

Он тихонько освободил руку.

– Спроси как-нибудь у моей матери... Оттого и разум у нее помутился тогда, еле-еле отошла. Да, я помню, как тогда было больно. И вот такая же пытка для меня сейчас... С того дня, как увидел тебя... А-а, да чего!

И он, махнув рукой, резко повернулся, пошел от нее.

– Юрий! Юра! – беспомощно вскричала Наташа, сделала несколько шагов вслед. Но он, будто боясь, что она его догонит, пошел быстрее, почти побежал.

\* \* \*

Ответной телеграммы из Москвы Наташа с трепетом ждала весь следующий день, до вечера, и еще следующий... Она через каждый час звонила на почту, хотя оттуда ей обещали немедленно позвонить сами, как телеграмма только поступит. Но не звонили, телеграммы не было.

Прошел еще день и еще... Москва молчала.

– Это не он, значит, не отец, – неживым голосом сказала Наташа Нечаеву.

– Ладно, сейчас мы попробуем все сами узнать. Заказывай, Наташенька, Москву, Наркомат. Только спокойнее...

...Когда в телефонной трубке после долгого хриплого кашля раздался насквозь прокуранный далекий голос: «Миронов слушает...» – Наташа ойкнула и почувствовала, как остановилось сердце. Она сразу узнала голос отца, хотя он за несколько лет изменился до неузнаваемости, износился весь, стал будто заржавленным.

– Кто там? Я слушаю, – повторил отец.

– Папа! Папка! Это я, Наташа... Это я, это я! – закричала она торопливо, захлебываясь. – Ты меня слышишь? Ты меня слышишь?

– Конечно... Здравствуй, дочка. Как ты там?

Наташа не замечала, что голос у отца спокойный и холодноватый даже, эмоций никаких в нем нет, что отец разговаривает так, будто они вчера или позавчера только расстались, а завтра снова будут вместе.

– Я тебе телеграмму послала. Папа! Ты слышишь?

– Да, я слышу. Я получил. И Савчук мне говорил...

– Почему ты мне не отвечаешь, папа?

– Ты замуж вышла, что ли?

– Да, папа. Его Семеном звать. У меня дочь родилась.

– Я знаю. Савчук мне об этом тоже говорил.

– А мама, мама... Ее нет... нас бомбили!

– Я знаю, – опять глухо сказал отец.

– Папка, да почему же ты не написал, не позвонил, когда Савчук... Я ждала, ждала! Ты когда... тебя давно... – И Наташа опять захлебнулась, не в силах произнести страшное слово.

– Нет, меня не очень давно освободили, – помог ей отец.

– Совсем? Папа...

– Как же еще освобождают? Я скоро приеду к вам, наверное. Я поеду по всем сибирским заводам нашего Наркомата. И к вам заеду... Прости, Наташа, звонит внутренний. До свидания, я напишу тебе...

И в трубке щелкнуло, громко захрипело. Наташа оторвала ее от уха и поглядела на трубку удивленно.

– Вот видишь, как хорошо, – с улыбкой произнес Нечаев, вышедший из кабинета в приемную. – Ну, поздравляю.

– Спасибо, – прошептала Наташа.

Директор стоял в приемной, держа в руках фуражку, он что-то еще проговорил и пошел из заводууправления. А Наташа долго еще сидела за своим столом, не шевелясь, осмысливая теперь весь разговор. Только теперь, вспомнив каждое слово отца, она поняла, что разговор вышел какой-то странный, холодный... И что на другом конце провода был вроде и не отец ее, а чужой, посторонний человек. В сердце сделалось больно, и на глазах от какой-то неясной еще обиды проступили слезы...

\* \* \*

Своя жизнь, не всегда понятная родителям, идет у детей.

Димка Савельев, сын Анны и Федора, за два военных года незаметно налился силой, окреп, голос его сделался басовитым. Весной сорок третьего ему исполнилось пятнадцать лет, все мальчишечье в его фигуре стало быстро исчезать, ходить он стал более развалисто, ноги на землю ставил твердо, словно не шел, а сознательно и размеренно печатал шаги. Черные, глубоко посаженные глаза стали какими-то еще более зацепистыми, смотрели на всех внимательно и словно пронизывали насквозь всякого. Его взгляда не выдерживали даже некоторые школьные учителя, а преподавательница литературы, женщина пожилая, почти старуха, нередко говорила:

– Почему ты смотришь так на меня, Савельев?

Малоразговорчивый от природы, Димка теперь стал еще молчаливее и на такие слова только пожимал плечами.

– Ты, Савельев, кажется, не любишь меня. А за что? – спросила однажды эта же учительница. – Смотришь, будто насквозь продавливаешь.

– Почему же? – возразил Димка. – Я вас уважаю... И литературу люблю.

Он действительно любил литературу и вообще учился неплохо.

– И на меня... И на меня ты вот так же все зыришь, – в тот же день сказала ему Ганка, с которой он по-прежнему занимался в одном классе, сидел в одном ряду, только он на задней парте, а она на первой. – Я затылком всегда чувствую. От девчонок стыдно. Дома гляди сколько хочешь, а в школе не смей.

– Нужна ты мне... – буркнул Димка. – И дома, и в школе.

– Так, да?! – повернулась она к нему, глаза ее метали черные молнии, давно набухшая грудь гневно колотилась. – Ты... так?!

Смуглые щеки Димки порозовели, и только это выдавало его волнение, потому что внешне он остался совершенно спокоен. Он качнул лобастой головой и еще более упрямо и дерзко произнес:

– А как же еще? Воображаешь о себе много.

У Ганки от обиды мелко затряслись губы, большие и красивые ее глаза? быстро-быстро переполнились слезами, засверкали ослепительно, сделались еще прекраснее. И с длинных ресниц на пылающие щеки капнула одна слезинка, потом другая.

– Ладно, – прошептала она почти беззвучно, крутанулась так, что чуть не хлестнула его по лицу тяжелыми уже косами, и убежала, оскорбленная и непокорная.

С тех пор ее залиvistый и звонкий смех стал все чаще раздаваться со двора Николая Инютина. Тот, как слышал Димка через плетень со своего двора, что-то ей, по обыкновению, молол, она хохотала беззаботно на всю улицу. «Куда мать-то ее смотрит, не видит, не слышит, что ли? – ворочались в голове у Димки тревожные и, как он сам чувствовал, беспомощные какие-то мысли. – Ведь он, Колька, совсем мужик... В военкомат все бегают, к этому Григорьеву, обещают, говорит, отправку на фронт летом, как девятый класс закончит. И Григорьев-то ничего, говорит, оказался, не злыдень, хоть и рябой... Что он тогда с Ганкой... ежели на фронт собирается? И Григорьев для него хороший стал... Паразит кречетконосый!»

А тут еще сам Колька однажды подлил масла в огонь.

– Ух, зараза такая! – сказал он восторженно о Ганке. – Тугая! Прямо от нее искры какие-то! Как при замыкании проводов.

– Так ты не сгори смотри, – сказал Димка с усмешкой. – А то вон с одного места уже воняет.

– Ч-чего? – заморгал Инютин, уставился на Димку.

– Ничего. Болтаешь много. И врешь.

– Где?

– Да что это... тугая? Ты что ее... Откуда знаешь, какая она?

Николай Инютин хмыкнул, пальцем поскреб свой горбатый нос.

– Тетеря ты, Димуха, понятно? Не знаю, так узнаю. Мы сговорились в кино с ней по субботам ходить.

– Ты узнаешь? – воскликнул Димка. – Да я... вперед тебя узнал уж.

– Ч-чего-о? – опять протянул Николай. – Три раза хе-хе... Молоко покуда у тебя не обсохло.

– Тогда у нее спроси самой!

Димка выкрикнул это в запальчивости, понимая, что делает что-то мерзкое, непоправимое, и еще сознавая, что обычная сдержанность, которой он втайне гордился, здесь как раз и изменила ему, изменила именно тогда, когда важнее всего было взять себя в руки, промолчать.

– Ладно, я спрошу, не постесняюсь, – угрожающе проговорил Николай.

Все это было нынешней весной, когда в палисадниках только-только набухали сиреневые почки. А когда сирень запенилась, заполыхала перед окнами белым и голубовато-розовым огнем, случилось то, что и должно было случиться, раз он не сдержался.

Однажды ранним вечером Димка сидел на крылечке и от нечего делать строгал таловую палку, мастера костылек. Когда он, надрезав тонкую кожицу, длинной лентой сдирал ее, закончил по всему костыльку замысловатый узор, во двор вбежал Витька Кашкаров.

– Ганка тебя зовет! Там она, за нашим плетнем стоит.

– Зачем я ей?

– Откуда я знаю? Я иду мимо – она стоит. С Колькой. Полные руки у нее сирени. Колька, видать, ей наломал где-то. Он, гад такой, всю сирень ей по всем улицам обломал.

Димка сразу догадался, зачем она зовет его. Не идти нельзя, тогда он совсем упадет в ее глазах, скажет – трус, и Колька скажет – трус, да еще и врун несусветный. Да и Витька вот так же будет думать. И идти нельзя, потому что... Тогда же надо будет объяснить Кольке при ней, при Витьке вот, что он не соврал тогда Инютину про Ганку. Но это же значит... замарать Ганку, так ее обидеть... смертельно. Как же быть? Что делать?

Витька, тоже вытянувшийся, похудевший, стоял, пошвыркивая носом, ждал, наклонив голову на длинной шее, разглядывал палку.

– Скажи – сейчас приду, – промолвил Димка, сказал это сознательно, чтобы отрезать путь и возможность поступить как-то иначе, ибо чувствовал – если он действительно струсит и не пойдет, то что-то в нем случится непоправимое, он потеряет уважение к самому себе.

– Дак пойдем вместе, – сказал Виктор.

– Айда... – Димка встал и принялся стряхивать с колен стружки.

Страхивал их долго... «Что же сказать? Что сказать?!» – колотилось больно у него в голове, когда он выходил со двора, шагал мимо Витькиного дома. Вот уже и дом миновал, вот угол плетня, да вон и сама Ганка, а рядом с ней горбоносый Инютин. «Как же это я не сдержался? Язык бы лучше откусить!»

Ганка стояла злая, еще более красивая в гневе, глаза сверкали ярко, так сверкали, что больно было смотреть. У нее действительно был огромный букет сирени, только она держала его в опущенной руке, как веник.

– Ну, говори! – потребовала она, задыхаясь. – Когда это ты узнал... что я тугая? Говори сейчас же, при всех! Ну, сочиняй...

Это «сочиняй» было каким-то спасительным. Ведь Ганка, в конце концов, ни в чем не виновата, что в ту ночь он, Димка, впервые дотронулся до ее тела, и, теряя разум, сжал в ладони теплый бугорок ее груди. Она ведь даже не проснулась, только вздрогнула во сне и перевернулась со спины на бок, напугав его своим движением до потери сознания...

«А может, и проснулась?!» – вдруг опалила впервые его, ошеломила вот сейчас, здесь, у ограды кашкарихинского дома, страшная догадка. Ведь именно после той ночи, бессонной, какой-то дурманной, началось непонятное между ним и Ганкой, пролилось что-то холодное, отчуждающее. «Что, если она проснулась? Ну конечно, конечно...»

Дело было зимой. Марья Фирсовна, Ганкина мать, затеяла побелку дома, но за день не управилась, вечером у них с Ганкой хватило сил вымыть полы только в одной комнате.

– Давайте спать, постелимся все на чистый пол. Завтра домом уж везде, сейчас ноги не держат. Ганюшка, Дмитрий, разворачивайте одежду...

Все легли вповалку, Димка приткнулся где-то на свободный клочок пола, и, уже засыпая, понял, ощутил всем телом, что лежит рядом с Ганкой. Вот она посапывает сбоку, чуть даже прихрапывает, а сразу за ней ровно и глубоко дышит ее мать. Сон у Димки рукой сняло, он почувствовал, как плавится в груди, там, где сердце, необычный жгучий жар.

Шло время, прошло, наверное, много часов, все тикали и тикали ходики, которые он сам и повесил на свежевыбеленную стенку, на старое место, и гирька опускается все ниже. Тиканье часов да дыхание спящих – больше и не было никаких звуков в комнате. Димка не спал и понимал, что в эту ночь не уснет.

Прошло еще немало времени, наверное, очень даже много, в голове у Димки теперь гудело. И, не помня себя, не соображая, что делает, он протянул руку, дотронулся до разметанных на подушке Ганкиных волос. Волосы были мягкие, холодные, его прошило током. Сознанием он понимал, что делает недозволенное, что руку свою надо немедленно отдернуть. Ганка ведь проснется, закричит, и тогда... Но пальцы его сами собой перебирали пряди ее волос, задели ее щеку. Чувствуя теперь, как пальцы дрожат, он скользнул ими по ее шее, по плечу, и его ладонь неожиданно легла на крепкий бугорок ее груди, обтянутый нагретым от тела ситцем... Ганка вздрогнула, зачмокала во сне губами и повернулась к нему спиной, легла на бок. Оглушенный, он не в силах был отдернуть руку, ладонь теперь лежала на ее мягком и тоже горячем плече, и Димка боялся снять ее. Теперь-то, ему казалось, она обязательно проснется, едва он пошевелит рукой.

Так его ладонь и пролежала у нее на плече до рассвета. Вот и все.

Нет, не все. Утром Ганка – сейчас Дмитрий это вспомнил отчетливо – ни разу не взглянула на него, все отворачивала в сторону припухшее за ночь лицо и быстро убежала в школу. И потом несколько дней будто не замечала его. А после и начала кидать усмешечки, пырять разными шуточками, и, наконец, вот это: «И на меня ты вот так же все зыришь...»

...Это «сочиняй» было спасительным, Димка знал, что теперь ему говорить, хотя сразу слов никак подобрать не мог.

– Чего, я спрашиваю, в рот воды набрал? – опять донесся до него сердитый Ганкин голос.

Она глядела на него враждебными глазами. И Николай Инютин смотрел на Димку виновато, ему тоже было неловко.

– Сволочь ты, Колька, понятно? – выкрикнул Димка.

– Чего-чего? – Инютин приподнял крючковатый нос.

– Ничегокай. Я... ну, сочинил... Назло тебе, прихвастнул... А ты?!

У Ганки дрогнули зрачки, презрительно сложенные губы чуть отмякли. Все это Димка заметил в одну секунду, почувствовал большое облегчение, повернулся к ней.

– Вот... Прости меня.

– Подлец! –дохнула она ему горячо прямо в лицо. Взмахнула букетом, ударила по лицу. – Я тебя прощаю... прощаю, прощаю...

Выкрикивая это сквозь слезы, она безжалостно хлестала Димку по лицу, по плечам, мелкие сиреневые звездочки разлетались в разные стороны, обсыпая его плечи. Димка не защищался, опустив плетьюми длинные и уже сильные руки, отступал, пятился, пока не уперся спиной в изгородь.

– И ты? И ты... дурак горбоносый! – повернулась она, разгоряченная, к Николаю. – И ты руки распускать! Вот тебе... вот!

И Ганка обхлестанным уже букетом принялась колотить по плечам и лицу Инютина.

– Сдурела! – Николай пытался поймать и отобрать у нее сиреневый веник, но это ему не удавалось. – Сдурела...

Руку Ганки перехватила появившаяся мать Николая. Как она подошла, никто из четверых не заметил.

– Вы что это? – спросила Анфиса строго. – Ты же глаза выхлестнешь...

– Сбесилась она совсем, вот чего, – буркнул Колька, пошел прочь.

– Обидели они тебя, что ли? – спросила Анфиса у Ганки.

– А вам какое дело? – зло прокричала Ганка, взмахнула уже почти голыми сиреневыми прутьями, будто хотела ударить и Анфису. Но не ударила, отшвырнула то, что осталось от букета, зарыдала и побежала домой.

Витька прямо через изгородь пролез в свой огород и пошел по рядкам картофельных всходов. Анфиса и Димка остались одни.

– Хулиганье вы, однако. Зачем девку обижаете? – спросила она.

– Ее обидишь! – усмехнулся Дмитрий, приложил ладонь к щеке. Лицо, больно нахлестанное Ганкой, горело.

Потом Анфиса и Дмитрий молча пошли. Мать Инютина возвращалась из библиотеки, где она работала теперь уборщицей, в руках у нее была хозяйственная сумка.

– Как мать-то там, в колхозе? – неожиданно спросила она, останавливаясь у калитки дома Дмитрия.

– Работает, что ж тут.

– Отец-то пишет, нет?

– Нет...

– А Семен?

– От него недавно письмо было.

– А наш батька что-то давно замолчал, – сказала мать Николая. – Уж не знаю, что и думать...

– Мало ли, – проговорил Димка успокаивающе, по-взрослому. – Там ведь так... не всегда и напишешь.

– А ты на отца все больше становишься похожий. Я его и в таких вот годах, как твои, помню. Прямо вылитый ты. И взгляд такой же...

Димка не то чтобы знал что-либо определенное об отношениях своего отца и матери Кольки Инютина в молодости. Но по отдельным словам своих родителей, по некоторым фактам поступков и поведения обоих смутно догадывался, что Инютина эта играла тут какую-то роль и что она, кажется, принесла его матери много горя. Поэтому на последние слова Анфисы он ничего не сказал, только взглянул на нее чуть удивленно, вопросительно. И она, взрослая женщина, смутилась, смешалась и пошла к своей калитке.

Она шла быстро, легко, по-девчоночьи, и Димке показалось, что это с ним разговаривала, стояла вот тут сейчас не тетка Анфиса, а дочь ее Верка.

\* \* \*

3-й гвардейский танковый полк, отведенный после тяжелых февральско-апрельских боев на доформировку и отдых в сожженную немцами деревушку Тасино под Курском, в самом конце июня получил приказ выдвинуться под село Фатеж, стоявшее на тихой и светлой речке Усоже.

Шоссейная дорога Курск – Орел, содержавшаяся до войны в образцовом состоянии, сейчас была сплошь в рытвинах и ухабах, местами дорожное полотно зияло глубокими воронками. Длинная танковая колонна,двигающаяся и без того на малых оборотах, объезжая эти воронки, еще более замедляла ход.

Стояла сушь, траки взбивали пыльную пудру, она клубами взрывалась под танковыми днищами, тугими струями хлестала во все стороны, забивала, запечатывала щели триплексов. Машины шли будто в густом молочном тумане, Семен ничего не видел, кроме мутной пелены, и, боясь врезаться в машину, идущую впереди, яростно матерился про себя.

Под Фатеж прибыли к вечеру, солнце садилось во вспучившиеся до неба пыльные облака. Семен, грязный, как трубочист, выбрался из танка, снял шлемофон и гимнастерку, начал выколачивать из нее пыль об ствол ободранной березки. Рядом отряхивались, отплевывались от пыли стрелок-радист Вахромеев, командир орудия их повидавшего виды КВ сержант Алифанов и дядя Иван, заряжающий.

– А я-то думаю, что это полк двинулся при ясном солнышке, в открытую, – проговорил Семен, кивая на серое, пыльное небо, тяжело висевшее над землей. – А тут такая маскировка.

– Речной мятой тянет вроде. – Иван, глядя на мутное небо, принялся, будто запахом мяты оттуда, сверху, и тянуло. – Где-то речка рядом. Умыться бы хоть. А, Егор Кузьмич?

Алифанов, маленький, плотный артиллерист с такими же усами-подковками, как у Ивана, молча поглядел на командира танка старшего лейтенанта Дедюхина, неуклюже вылезающего из люка.

– Можно, – сказал Дедюхин хмуро. – А то на чертей похожи. Только сперва машину примаскируйте.

Старший лейтенант Дедюхин был человеком грубоватым и мрачным, но в душе, как это почти всегда бывает с такими людьми, бесконечно добрым. Семей увидел его впервые под Челябинском около года назад. Он, тогда еще младший лейтенант, шел, тяжело ступая, вдоль строя выпускников краткосрочных курсов механиков-водителей танков, при каждом шаге тяжело выбрасывал вперед то одну, то другую руку. Семену показалось на миг, что, если этот хмурый человек остановится, руки его еще будут некоторое время болтаться.

– Ты! – произнес он неожиданно, остановившись против Семена, ткнув в него указательным пальцем.

– Рядовой Савельев, – проговорил Семен.

– Вижу, что не генерал. Сибиряк, мне говорили?

– Так точно, товарищ младший лейтенант.

– Шагом марш за мной.

Повернулся и пошел обратно.

Младший лейтенант Дедюхин был не молод, лет сорока, по виду из рабочих. На его груди посверкивал орден Красной Звезды, две медали. В несколько фраз он объяснил Семену, что приехал с фронта в тыл за своим ремонтировавшимся здесь танком, «расколотым прямым попаданием сволочной фашистской авиабомбы, во время которого убило механика-водителя и Костю-заряжающего».

– Вот, теперь еще заряжающего надо, – закончил он. – Не знаешь, где взять хорошего мужика?

– Так разве мало...

– Хе! – усмехнулся Дедюхин и грубо прибавил: – Дерьма много, да по-разному воняет... Я сам с Красноярска, весь экипаж у меня сибиряки. Железо люди! Костя тоже был с Иркутска, а не с Малаховки какой-нибудь... Был я до войны в Москве и в Малаховку ездил со знакомой одной. Дачное место. А знакомая – ух... Ну, не знаешь?

– Знаю, – сказал Семен, понявший, чего хочет этот странноватый младший лейтенант. – Сейчас пополненцы тут обучаются. Там есть такой солдат Иван Савельев... Как раз в артиллерийском полку он.

– Чего? – прищурил Дедюхин свои острые глаза.

– Это дядька мой. Не ошибетесь.

– Хм, – буркнул Дедюхин, еще раз ободрал холодным взглядом Семена. – Ну, я проверю. Ежели соврал и барахло вы с дядькой, шкуру с обоих спущу. Где его найти?

Неделю спустя в глухом цехе танкоремонтного завода появился Иван Савельев и, выставив сутулые плечи, постоял у стальной громадины. Танк Дедюхина КВ № 734 только что покрасили, краска уже подсохла, но еще резко пахла. Сам Дедюхин, маленький, удивительно маленький по сравнению с этой горой железа, юрко суетился вокруг танка, гладил ладонью броню, траки, ведущие колеса, без умолку говорил, почему-то заискивающе:

– Вот она, Иван Силантьевич, а! Мамонька! Тридцать два попадания, да сволочная авиабомба еще... А она только трещинку дала. Сейчас есть уже новые танки, тридцатьчетверки. Говорят, хорошие коробочки. Да видел я их, куда внучке до тетки, тетка три раза замужем была, не-ет... Соглашайся, Иван Силантьевич, соглашайся.

– Да куда мне в танкисты? И не отпустят, – произнес Иван.

– Хе, не отпустят! Это к Дедюхину не отпустят? – Младший лейтенант, говоря это, повернулся почему-то к Семену, и, когда поворачивался, рубиновый кубик на правой его петлице блеснул искрой в тусклом свете заводского цеха. – Он что это мне говорит? – И снова повернулся к Ивану, видно чем-то понравившемуся ему: – Кроме того, есть приказ Верховного, чтобы сын с отцом, брат с братом вместе воевали, чтоб не разлучали родственников. А делу тебя Алифанов Егор Кузьмин, командир орудия, живо обучит. У нас Егор Кузьмич – ого-го! Голова! Томский таежник он, понял? Дело-то хитрое – взять снаряд из гнезда, сунуть в ствол, закрыть замок. Ну? Ну?

Так вот и оказались Семен с Иваном в одном танковом экипаже. Из Челябинска довели отремонтированный КВ на железнодорожной платформе до Волги, переправились через нее, потом своим ходом добрались до села Котлубань, под которым Дедюхин разыскал свой полк. Было это в конце августа прошлого года, немцы в районе хутора Вертячего и станции Качалинской уже перешли Дон и рвались к Волге. Сутками гремела канонада, горела земля, на совхоз «Котлубань» и на станцию Качалинскую, хотя там нечего было уже бомбить, непрерывно налетала фашистская авиация.

– Ага, Савельевы, мокро, что ли, в штанах? – весело спросил Дедюхин, когда с неба посыпались однажды бомбы чуть не в самую балку, по которой были рассредоточены замаскированные машины.

Где-то сбоку лаяли, огрызаясь, зенитки, но вражеские самолеты не обращали на них внимания, кружили и кружили над степной балкой. Страх у Семена не было с первого часа пребывания в прифронтовой полосе, хотя всю дорогу от Челябинска до Волги он испытывал какое-то беспокойство. Он прислушивался к себе, пытаясь понять, что происходит у него в душе. «Неужели это я трушу?» – задавал он себе беспощадный вопрос, криво усмехался. И чем ближе была Волга, чем чаще проплывали мимо разбомбленные станции и поселки, чем отчетливее ощущалось страшное дыхание войны, тем он становился как-то холоднее и спокойнее, только непрерывно думал: а как там Наташка, как же она? Вот и в тот раз, сидя, согнувшись, в земляной щели, ощущая спиной холодок глиняной стенки, он думал о жене, вспомнил, как Наташка, когда его подхватили сильные руки и подняли в вагон, упала на пыльную землю и забилась на ней, представлял, как потом подошла к ней его мать, нагнулась и стала поднимать, а рядом то с одного, то с другого боку суетилась, наверное, Ганка.

Слова Дедюхина, их командира, оскорбили его не грубостью, а даже непонятно чем. Если бы не эти самолеты, которые не пугали, а все сильнее раздражали его, если бы не думы о



Наташке, от которых тупо постанывало в сердце, он, может, пропустил бы мимо ушей эту грубую шутку. А тут он встал, отряхнул с гимнастерки пыль и, глядя в смеющееся лицо Дедюхина, желчно промолвил:

– Ты, командир... сам вперед не напусти гляди.

Угловато высеченное лицо Дедюхина вытянулось, он моргнул раз-другой.

– Чего-о?! Ты... как сказал?!

– Да плюньте вы, товарищ младший лейтенант, – попробовал потушить ссору Иван, сидевший рядом.

– Молча-ать! – рявкнул Дедюхин не то на Ивана, не то на Семена. – Родственнички...

Семен махнул рукой и пошел вдоль окопа. Дедюхин хотел что-то ему крикнуть вслед, остановить, может быть, но то ли передумал, то ли просто пересилил себя, засопел и опустился на дно щели.

С неделю потом Дедюхин молча посапывал, отворачиваясь от Семена, на занятиях по вождению танка и стрельбе с ходу выжимал из Семена и Ивана, да и из остальных, по ведру пота. И наконец сказал тому же Ивану:

– Хорош... Не зря я твоего племянничка взял. Ну, да у меня глаз алмаз, как отмерю, так отрежу... Теперь, значит, оправдаете себя. Это уж скоро, через день-другой.

Через два дня полк действительно бросили в самое пекло близ хутора Вертячего...

...Плескаясь в перегревшейся мелкой речонке, заросшей по берегам удивительно свежим, неизмятым кустарником, Семен вспоминал почему-то этот свой первый бой под донским хутором Вертячим. Даже не весь бой, а всего один эпизод, который постоянно приходил ему на память и не сотрется в ней, думал он, до конца жизни. Лощина, по которой скатывались навстречу друг другу советские и немецкие танки, была затянута утренней синеватой дымкой, и Семен думал не о смертельной опасности, а вот о таком же утреннем тумане, который, поднимаясь с Громотухи, затягивал прилегающие к ней луга, вспомнил, как Звенигора, погруженная в этот туман до половины, словно бы плывет по нему, поблескивая золочеными вершинами. В такие утра зверский клев на Громотухе, интересно, как на Дону?

– Куда прешь, куда прешь?! – ударило по ушам, голос Дедюхина был надсажен и устал, будто он кричал до этого всю ночь напролет. – Бок хочешь подставить, едут твою... Держи левее, прямо в лоб ему!

Семен дернул за рычаг, тяжелая махина послушно взяла левее.

– Так... так, прямо!

А прямо шел приземистый немецкий танк, с приплюснутой башней, поводя из стороны в сторону пушечным стволом. «Т—3», – определил Семен сразу же марку немецкого танка, вспомнил даже красочный плакат, который висел на дощатой стенке там, в Челябинске, когда он учился на краткосрочных курсах механиков-водителей. На плакате был изображен этот самый танк в разных ракурсах.

До танка было еще с полкилометра или чуть побольше, когда он перестал вертеть пушечным стволом, уставил его, как показалось Семену, прямо ему в смотровую щель. Из пушечного дула пахнул дымок, совсем не опасный, однако Семен инстинктивно прикрыл глаза. Но грохота снаряда о броню не последовало, немецкий артиллерист промахнулся.

– В-вояки, в задницу вас... – опять прогремел в ушах голос Дедюхина. – А ты дуй, дуй, газу прижми! Алифанов, не стрелять, приготовься...

Эта команда «не стрелять, приготовься» немножко удивила Семена: «Как же так? Как раз и надо бы сейчас влупить ему...»

– Понятно, – прохрипел командир орудия.

Семен совсем ничего не мог сообразить. А тут оглушительно ударило по броне, из вражеской машины снова выстрелили, этот снаряд угодил в лобовую броню, танк качнуло, в голове

у Семена зазвенело, и сквозь звон он услышал в наушниках хриплый смех Дедюхина, а потом его матерщину и слова:

– Чего хотели – КВ продырявить! Это вам не жестянка из-под помады. Не сворачивать у меня!

Это уже опять относилось к Семену.

– Понятно, – сказал он, как и Алифанов, и почувствовал, что под шлемофоном взмокли волосы. Если танки столкнутся лоб в лоб на такой скорости, оба они расплющатся и вспыхнут, как спичечные коробки. Но к тому мгновению, как вспыхнут, в обоих танках будут лишь трупы...

– Молодец, что понятно. За понятливость нас бабы уважают. А любят за мужскую силу, хе-хе!..

Эти слова и этот смешок заставили Семена улыбнуться. В мозгу мелькнуло: какой же он, Семен, дурак, что огрызнулся тогда на Дедюхина, ведь с ним не пропадешь, а коли случится что... как сейчас вот может случиться... то умирать будет весело.

Мотор взревел, сотрясая стальную громадину. Танки быстро сближались. «Если счас влепит, то прямо в смотровую щель», – сверкнуло у Семена. Было в нем будто два Семена, один ничего уже не боялся, был лих и безрассуден, а у второго беспокойно все-таки долбила в мозги тяжелая, как жидкий свинец, кровь.

Между танками оставалось метров семьдесят, вот еще меньше, еще... По лицу Семена грязными реками стекал пот, в голове гудело, руки вдруг противно задрожали. По ним шли какие-то конвульсии. Семен понимал, что руки сами собой готовы были рвануть рычаги, чтобы бросить тяжелую машину в сторону, избежать смертельного столкновения.

– Прямо! – прохрипел Дедюхин, тяжело дыша и будто чувствуя состояние Семена.

Из ствола вражеского танка опять брызнул дымок, но адского грохота по броне не последовало. «Действительно, размазня! – злорадно подумал Семен о немецком артиллеристе. – С такого расстояния промахнуться...» И он понял, что нервы у фашистских танкистов напряжены, как у него самого, до последнего предела, и еще подумал с какой-то уверенностью, что они у них вот-вот лопнут, оборвутся. Закусив до крови губы, он бросил дико ревущую машину на пригорок, чтобы оттуда, с высоты, обрушиться всей тяжестью на фашистов, и на миг потерял танк с крестом из поля зрения. Только на миг, но когда тяжелый КВ взлетел на пригорок, немецкой машины впереди не было.

– Ну?! – вроде бы возмущаясь, что Семен потерял немцев из виду, рявкнул в шлемофоне голос Дедюхина. И тут же Семен почувствовал, как громыхнуло их орудие.

– Молодец, Алифанов! – неожиданно вяло произнес Дедюхин.

И Семен увидел чуть в стороне горящий немецкий танк, сразу же понял всё ясно и отчетливо, весь нехитрый расчет Дедюхина на выигрыш. Ни 37-, ни 50-миллиметровые орудия, установленные на немецких танках, для лобовой брони КВ были не страшны, но и пушка КВ не в силах пробить квадратный стальной лоб фашистской машины, поэтому Алифанов и не стрелял. Но рано или поздно нервы гитлеровцев должны были не выдержать, и, как только это случилось, едва вражеский танк отвильнул в сторону, Алифанов, бывший на чеку, вцепился ему в бок, в самый упор, снаряд, в ключья разорвав гусеницы, – горящая немецкая машина крутилась на одном месте.

Когда бой кончился, над ложиной все еще стоял туман, он даже сделался гуще, и не сразу Семен сообразил, что теперь это не туман, а дым, стлавшийся по земле от подбитых немецких и советских танков, рассыпанных по всей низине чадающими кострами. Дедюхин приказал всем выстроиться возле машины, прошелся взад-вперед перед экипажем, собираясь с речью, как казалось Семену. Но речь он не сказал, только спросил:

– А что, Иван Силантьевич, сердце уходило в пятки?

– Трудновато было, – сказал Иван, тоже грязный и потный, как все.

– Ну, война – это работка! Обвыкнется...

Руки, ноги, все тело Семена все еще гудело мелкой дрожью, он думал о том, как вываливались из подбитых горящих машин немцы в черных комбинезонах, кидались прочь, падали под пулеметным огнем, некоторые больше не вставали, и он, Семен, давил их, и бегущих, и уже лежащих, гусеницами, каждый раз будто слыша хруст ломаемых костей. «Разве можно к этому привыкнуть? Разве можно?!» Его вдруг замутило, он невольно прикрыл глаза и пошатнулся.

– И Савельев Семен молодцом, – услышал он голос Дедюхина. – Еще один такой бой – и обвыкнетесь, мужички-сибирячки...

...И вот теперь Семен не только обвыкся, а как-то даже потерял раз и навсегда ощущение своего присутствия на войне, ему все казалось, что он действительно находится на какой-то работе, утром заступил на смену – и вот все не кончается трудовой день, а дома ждет Наташка, теплая, вся трепетная, и бабка Акулина ждет, суется по бесконечным своим делам в комнатушке. Было потом много боев, больших и малых, в ходе которых немцы все оттесняли их дивизию и всю армию к железнодорожной линии Качалинская – Сталинград. Ощущение опасности как-то выветрилось, наверное, просто было некогда об этом думать, дни и ночи просто заполнились дымом и грохотом. И даже когда под сельцом Овражное их КВ подожгли, Семен не думал об опасности. Задыхаясь от дыма, чувствовал, что на спине горит ватник, и, понимая, что вот-вот может взорваться боекомплект, он бросил пылающий танк в какую-то речушку и только там вывалился из люка в ледяную воду.

– Ах, едут твою! Молодцом, что не растерялся... Ну, прибить пламя! Всем, живо!

Пожар кое-как потушили, кусок пламени, оторвавшись от танка, уплыл вниз по речке, слизывая толстую лепешку мазута на воде. С помощью подвернувшегося танка их КВ выволокли из речушки на глинистый берег. Сбоку, за кустами, то приближаясь, то удаляясь, гремел бой. Семен ходил вокруг дымящейся паром железной горы, проверяя траки. Все было вроде в порядке.

– Заведется? – спросил Дедюхин.

– Не знаю. Должен. Не развалился же он.

– Коли б развалился, к лучшему бы, – неожиданно сказал стрелок-радист Вахромеев, потирая обожженную щеку. – Получили б тридцатьчетверку.

– Я те дам тридцатьчетверку! Это механизм! – Дедюхин пнул в гусеницу. Он не признавал никаких типов танков, кроме КВ. – Заводи!

Семен, обрывая обгорелые лохмотья мокрого ватника, полез в люк. «Механизм» завелся.

В бою под Овражным они расстреляли из орудия четыре вражеских пушки, проутюжили гусеницами окопы, где красноармейский батальон всего четверть часа назад держал оборону. Обстановка на войне меняется быстро, и, пока они барахтались в речке, немцы выбили наш батальон из окопов, заняли их, успели подтянуть и установить пушки. Выбитый из окопов и прижатый к кромке лесочка, занятого тоже немцами, стрелковый батальон был обречен, и появление в тылу у немцев двух советских танков было полной неожиданностью. Гитлеровцы в панике начали поливать их из пулеметов, разворачивать пушки, но сделать ничего не успели. Видя неожиданную помощь и замешательство немцев, батальон поднялся в атаку, снова занял оставленные несколько минут назад окопы, а к вечеру, уступая превосходящим силам противника, без особых потерь отошел на новый рубеж.

– Это мы сотворили переполоху у них! – довольно сказал вечером Дедюхин. – А ты, Вахромеев, балда. Хочешь променять хрен на морковку. Чтоб у меня таких и разговоров не было! Не слыхал чтоб... Ну а медали у нас в кармане. Это уж я знаю, такой вышел переплет. Под Вертячим – помните? – танк сшибли, и вообще геройство экипажа было налицо. Но... невеста красива, да женишок спесивый... Ладно уж. А тут уж хошь не хошь, а медаль положь. Крышка батальону, коли б не мы, утопленники... Вот она, кривая.

Дедюхин говорил об этом, радуясь, как ребенок, будто в этих медалях была вся жизнь и дело с наградами уже решенное.

Медали «За отвагу» всему экипажу действительно вручили месяц или полтора спустя, когда под той же Котлубанью они ремонтировали немножко поврежденную в последнем бою ходовую часть.

– Ну, Савельевы, считайте, что это вам только аванец, как в начале месяца, – сказал Дедюхин, обращаясь к Ивану и Семену. – Отрабатывать его скоро придется, я чую...

Чуяли это и все остальные. Немцы прикладывали невероятные усилия, чтобы прорваться к Волге, перерезали дорогу Качалинская – Сталинград, давно захватили Овражное, под которым горел их КВ. Гитлеровцев сдерживали уставшие до предела войска, подходившие и подходившие к линии фронта подкрепления командование пока в бой не вводило. Танковыми, стрелковыми, артиллерийскими дивизиями были забиты все прифронтовые селения – Самофаловка, Ерзовка, Желтухин, хутор Верхнегниловский, Паншино... Всем было ясно, что готовилось крупнейшее контрнаступление, которое должно было отбросить немцев от Сталинграда, об этом говорили в открытую.

Но отрабатывать «аванец» Дедюхину и его экипажу пришлось уже не здесь.

Восемнадцатого ноября под деревенькой Рынок, приткнувшейся на самом берегу Волги, прямым попаданием у КВ Дедюхина сорвало верхний люк и кронштейн для пулемета. Дедюхин, матерясь, что их для такого пустякового ремонта отправили аж в Дикову Балку, отстоящую от линии фронта на много километров, все же вынужден был подчиниться приказанию, а девятнадцатого началось знаменитое сталинградское контрнаступление.

Из Диковой Балки было видно, что в той стороне, где находился Сталинград, по всему горизонту стлались черные дымы, а когда дул южный ветер, сюда доносились гарь и запах сожженного тола и железа. Но в Диковой Балке неожиданно оказалась вся танковая дивизия, в которую входил 3-й гвардейский полк, через день он своим ходом двинулся на станцию Иловля.

– С тылу, с тылу, видно, немцу ударим, – несколько раз говорил Дедюхин.

– Ну что ж, мы специалисты, – каждый раз отвечал ему Вахромеев, заметно повеселевший, отдохнувший.

Но в Иловле их неожиданно погрузили на платформы и куда-то повезли прочь от фронта.

– Интересно, – промолвил Алифанов. – А?

Дедюхин, получивший лейтенанта одновременно с вручением медали «За отвагу», промолчал. Ничего не сказали и Семен с Иваном. Семен, смертельно уставший за последние месяцы, просто был рад, как и Вахромеев, неожиданной передышке и тишине. Он большую часть пути пролежал на нарах в теплой, жарко накопечаренной теплушке, раза два за всю дорогу только бегал к платформе поглядеть, все ли в порядке с их машиной.

Выгрузили их глухой ночью где-то на пустынном перегоне между Липецком и Ельцом. С обеих сторон к железной дороге вплотную прижимался лес, шел теплый и густой снег. Семен впервые видел за эту зиму такой обильный снегопад, на душе у него было светло, чисто и радостно. Танки, неуклюже сползая с платформ, уходили в черноту деревьев, шум их моторов там сразу же глох.

А потом – бои за начисто разрушенное селение с непривычным названием Касторное, удар на Щигры и далее на сам Курск, город, о котором Семен много слышал. Когда он учился в школе, слова «Курская магнитная аномалия» почему-то всегда удивляли и поражали его, он представлял, что по улицам этого самого Курска валяются магнитные куски железа и это из них делают те магнитные подковки, которые он вытаскивал иногда из старых радиорепродукторов.

Седьмого февраля 1943 года поздним вечером их КВ, исцарапанный пулями и осколками, влетел на окраину какой-то улочки этого города. Город горел, над ним стояло дрожащее зарево, и в этом зареве извивались черные жгуты дымов. Улица была тесной, впереди, метрах в трехстах, немцы выкатывали из переулка пушку, торопливо разворачивали ее.

КВ неся прямо на вражескую пушку, и Семен понимал, что подмять ее гусеницами он не успеет, вон немецкий артиллерист уже поднял руку...

– Алифанов! – привычно прохрипел в шлемофон командир танка, и командир орудия так же привычно отозвался:

– Вижу.

Опустить руку немец не успел, на том месте, где стояла пушка, мгновенно вспух вихрь огня и дыма, оторванный ствол немецкой пушки легко, как сухая палка, взлетел над ним и, крутясь, упал на крышу приземистого домишка, проломив ее.

...Поплескавшись в речке, Семен вылез на травянистый берег, взял пыльную, в мазутных пятнах гимнастерку с погонами, к которым никак еще не мог привыкнуть, отстегнул медаль, положил ее в карман брюк. Снова вошел в речку, попросил у Вахромеева обмылок.

– Еще чего, – буркнул прижимистый Вахромеев, однако мыло подал. – На гимнастерку изведешь, потом морду нечем будет обмыть.

– Не жадничай... Чего это нас сюда перекинули вот, скажи лучше.

– А девкам тут плясать не с кем, – буркнул Вахромеев.

– Болтун ты, – проговорил Семен и покосился на дядю Ивана, который, белея за кустами незагорелым телом, прыгал на одной ноге, пытаясь другую протолкнуть в штанину.

– Мы тут, чую я, все попляшем, – сказал сбоку Дедюхин. Вода была чуть выше пояса. Дедюхин по-бабьи плюхался, приседая, поднимаясь и вновь приседая. – Ох, чую, мужички-сибирячки! Наотдыхались, хватит. Два месяца как в отпуске, на курорте ровно, были. Вроде и не война нам...

\* \* \*

Действительно, почти два месяца танковая дивизия недвижимо стояла на берегу красивой речки Сейм, неподалеку от небольшого городка Льгова, освобожденного в начале марта. По всему фронту в конце апреля наступило неожиданное затишье, не было ни налетов артиллерии, ни самолетного гуда в воздухе. Странно было, что в самом начале мая по кустам и рощам, обломанным колесами танков, пушек и автомашин, искромсанным снарядами и пулями, в зарослях, из которых не выветрился еще запах гари, бензина и пороха, зашелкали, затрещали соловьи. «Это ж знаменитые курские соловьи!» – сказал тогда Семен удивленно дяде Ивану, а тот, послушав переливчатый звон, кивнул головой и только проговорил: «Ну, наши, сибирские-то, не хуже».

За эти два месяца танкисты хорошо отдохнули и отъелись, привели в порядок свои машины. В начале июня их стали посылать на рытье траншей и строительство оборонительных сооружений, которые возводились между Льговом и станцией Лукашевка, танкисты делали все это охотно – разминали тело от долгого уже безделья.

Вместе с военными на устройстве оборонительной полосы работало много жителей Льгова и Лукашевки, в основном женщины, и однажды Семен кидал землю рядом с худой молчаливой девчонкой, голова и лицо которой чуть не до самых бровей были замотаны черным платком. Она работала в одиночестве, ни на кого не обращая внимания, ни с кем не разговаривая, не отвечая на шутки, кидала и кидала землю. По лбу ее обильно сочился пот, щипал, видно, глаза, она отворачивалась, какой-то тряпкой протирала их и часто гладила ладонями свои щеки под платком, будто они у нее чесались.

– Ты бы сняла платок-то... Жарища такая, – сказал ей Семен.

Она впервые подняла на него глаза, и Семен ужаснулся: глаза ее были старушечьи, усталые и тоскливые до немоты, будто сгоревшие и присыпанные пеплом, в них совсем не проникал солнечный свет, не отражался в них.

Семен, ошеломленный, застыл недвижимо. Девушка усмехнулась как-то странно, тоже неживой усмешкой.

– Ладно, я сниму...

Она поглядела вправо и влево. Траншея, которую они рыли, за ее спиной круто заворачивала, рядом никого не было. Девушка грязными пальцами развязала на шее платок, сдернула его, и Семен почувствовал, как разливается холодок у него в груди. Вся голова девушки была покрыта частыми белыми, как бумажные клочки, плешинами, меж которых торчали пучки светлых, коротко обрезанных волос, а во всю правую щеку пузырем лежал красный безобразный рубец. В платке девушка казалась симпатичной и даже красивой, а сейчас стояла перед ним страшная и обезображенная.

– Это... что же с тобой? – спросил Семен, в чем-то пересиливая себя.

– А прокаженная я... – И, глянув на застывшего Семена, еще раз усмехнулась. – Не бойся, я не заразная. Серной кислотой это я себе голову сожгла.

– Сама?! – удивленно выдохнул он.

– Сама...

– Зачем?!

Девушка туго замотала опять голову, отвернулась и, кажется, заплакала.

– Семка, шабаш, – сказал подошедший Вахромеев, поглядел на девушку, – Строиться кричат.

– Сейчас... Больно ж, должно, это, – сказал Семен, понимая, что говорит не то.

– Под фашиста лечь, что ли, легче?! – зло повернулась девушка, в глазах ее впервые блеснуло что-то гневное и живое. – Ступай отсюда! Стройся.

– Что ты орешь на меня? – рассердился Семен. – Я перед тобой виноват, что ли?

– Не виноват. И ступай!

Семен повернулся и пошел, спиной чувствуя тяжелый, ненавидящий взгляд. Обернулся – она действительно глядела на него своими мертвыми, стылыми глазами.

– Как тебя звать? – неожиданно спросил он.

– Ну, Олькой Королевой... – Она скривила губы презрительно. – Тебе это очень надо?

Он не видел ее потом недели две – то ли она не ходила больше на рытье траншей, то ли работала где-то на другом конце, – но думал о ней все время, вспоминал ее злые слова: «Под фашиста лечь, что ли, легче?!», вспоминал часто Наташку, и ему казалось, что ее судьба чем-то схожа с судьбой этой Ольки.

По вечерам танкисты стали похаживать в поселок Лукашевку, полностью почти разрушенный немцами, где в длинном кирпичном сарае, уцелевшем каким-то чудом, крутили уже кино. Сперва повадился туда Вахромеев. Он стал вдруг каждый вечер тщательно бриться, а потом и пришивать свежие воротнички из ослепительно чистого, неизвестно откуда взявшегося у него куска новой простыни. Все это Дедюхину не очень нравилось, и он едко спросил однажды, покашливая:

– Гм... Это ты, Вахромеев, где воротнички-то берешь?

– Натокался, товарищ лейтенант, на одну благотельницу. Может, и вы... Пойдемте. Кусок простыни еще найдется.

– Разговорчики! – повысил голос Дедюхин. – Гляди у меня, не окажись в нужный момент на месте!

Однажды Вахромеев уговорил «сбегать на пару часов в Лукашевку» и Семена, таинственно намекая на что-то. Семен раза два бывал в Лукашевке по службе и до этого, идти ему с Вахромеевым не хотелось, но разбирало любопытство глянуть на его таинственную благотельницу. Это оказалась особа далеко не молодых лет, рыхлая, со скрипучим голосом, но одетая чисто и аккуратно. Она жила, как и многие, в наспех сколоченном дощатом сарае. На железной койке, недавно покрашенной суриком, лежала пышная постель. Приходу Вахроме-

ева и Семена она обрадовалась, тотчас юркнула куда-то, появилась с костлявой девицей, которая вошла в сарай, прислонилась неловко, боком, к щелястой стенке и побагровела, будто от натуги.

– Это Зойка, мы вместе тут работали до войны в столовке. Официантки мы... Сейчас столовая наша отстраивается, мы покуда на стройке работаем. Знакомьтесь, что ли. Зойка у нас стыдливая. А меня зовут Капитолина.

Семен буркнул свое имя, пожал жесткую ладонь Зойки, жалея, что пришел сюда с Вахромеевым. Думал он в этот момент об Ольке и еще о том, что вот эти две девицы, наверное, напропалую жили с немцами, потому вон и сытые, в теле. Зойка хоть и костлявая, но зад тоже крепкий и намятый.

– У меня, Вахромейчик, кое-что есть! – воскликнула Капитолина, тряхнула кудряшками, полезла за кровать и вытащила водочную бутылку, заткнутую деревяшкой. – Вот!

Бутылка была неполной, водки в ней было чуть побольше половины, Капитолина все это разлила на четыре части в граненые стаканы. Семен давно не видел домашней посуды, и при виде обыкновенных стаканов у него в груди что-то пролилось теплое, будто он водку эту уже выпил. А «Вахромейкина благодетельница», как он с неприязнью назвал про себя Капитолину, глянула на Зойку, все такую же смущенную и багровую, отлила из своего и ее стаканов в какую-то чашку.

– Это Ольке, – сказала она, извинительно глядя на Вахромеева. – Ну, мальчики, выпьем, потом потанцуем. У меня, Семен, патефон есть, вон он, и две пластинки. Потом в кино пойдем.

– Кому, кому... это? – кивнул Семен на чашку, куда Капитолина отлила водки.

– Ольке, говорю, связной нашей. Ну, Вахромейчик, сладенький мой...

– Какой связной? Погодите, – попросил Семен.

Вахромеев хитро подмигнул, выплеснул в широкий рот водку, взял с полки патефон. И, накручивая пружину, сказал:

– А той самой, с которой ты в траншее любезничал. Она в ихнем партизанском отряде разведчицей и связной была...

– Вы... партизанили?! – повернулся Семен почему-то к Зойке, еще более от этого смущившейся.

– Ну да, – сказала она, опуская глаза. – Вон с Капитолиной мы вместе...

– Господи, ну что это вы, будто младенцы какие? – закричала Капитолина, раскрасневшаяся от плотка водки. – Ты, Зойка, немцев, как траву, косила из автомата, а тут...

– А тут что-то мне страшно, – тихо и беспомощно сказала Зойка.

– А ну-ка, живо плясать!

Зойка несмело взглянула на Семена. Замученная пластинка хрипела. Семен, тоже волнуясь теперь, шагнул к девушке, положил руку ей на спину и тотчас почувствовал, как она вздрогнула.

Танцуя, он видел красную, заветренную щеку Зойки, чувствовал, как эта щека и открытая упрямая шея пышут жаром. Надо же, что он подумал о них, об этой Зойке и Капитолине, а они... – мучился он, краем глаза, стыдясь, наблюдал за Капитолиной: плотно прижавшись к Вахромееву, она водила его вокруг стола, на котором стояли пустая бутылка, четыре граненых стакана и чашка.

– А вы ее пожалейте, ладно? – услышал вдруг Семен.

– Кого?

– А Ольку. Она хорошая, и ей ничего не надо... Она сейчас придет, мы ей сказали.

Семен невольно остановился. Он заметил, что Капитолина, все прижимаясь к Вахромееву, повернула к ним с Зойкой голову, и в ту же секунду Зойка требовательно сжала ему плечо, и он, подчиняясь, стал танцевать дальше.

– Оля все спрашивала об вас у Вахромеева, – зашептала ему в ухо Зойка. – А он нам рассказал, что она об вас спрашивала. Ну вот, мы с Капитолиной и попросили Вахромеева, чтоб он привел вас... Это ничего, да?

– Да что же... – проговорил Семен. – Только ведь что же я могу ей... У меня жена и дочь.

– Ой, ну до чего же бывают непонятливые болваны! – прошипела она ему в ухо, и Семен опять остановился. – Ну что вы столбом встали? Танцуйте.

Вот тебе и Зойка! Теперь он верил, что эта девица могла резать немцев из автомата, как траву косой.

Он теперь все время ждал, когда она придет, эта Оля с неживыми, потухшими глазами, как-то отрешенно и холодно размышлял: о чем же это он с ней будет говорить? И вообще – как это так «пожалейте»? Как он должен пожалеть ее? Что это они придумали? Уйти, что ли, отсюда?

Но Семен понимал, что уходить ему нельзя, и в то же время отведенная ему кем-то роль жалельщика оскорбляла его, он раздражался, и Зойка, эта смущающаяся девица, вроде бы чувствовала, угадывала его состояние, время от времени предостерегающе сдвигала его плечо сильными пальцами.

Оля появилась неожиданно, Семен увидел ее, когда она уже стояла спиной к запертой за собой дощатой двери в сарай, обеими руками держась за железную скобку. Голова и лицо ее были так же глухо повязаны платком, но теперь белым с синими цветочками по краям. Она стояла, сильно вытянувшись, готовая в любую секунду ринуться вон. Простое ситцевое платишко туго облегло ее фигурку, выделяя крутые плечи и сильные груди.

– Оля, Олечка! – вскричала Капитолина, бросаясь к девушке, обняла ее за плечи, прижалась к ее закрытой платком щеке губами. – А у нас гости. Вот, знакомься, это Семен, товарищ боевой моего Вахромейчика.

– Здравствуй, – кивнул Семен, не переставая танцевать.

– Добрый вечер, – промолвила Оля. – Да мы знакомы.

– О-о! – громко удивилась Капитолина. – Когда же вы успели?

– А там, на траншеях...

– Ну и распрекрасно, коли так. Ты выпьешь, Олечка? Вон мы тебе глоточек оставили. И корка хлеба есть зажевать.

– А что ж, и выпью.

Она подошла к столу, глотнула из чашки, даже не поморщившись, будто воду. Семен с Зойкой все топтались у противоположного края стола. Вахромеев, стоя у спинки кровати, чиркал зажигалкой, Капитолина держалась обеими руками за его локоть и что-то говорила. Пластинка, прохрипев, замолчала, Семен и Зойка остановились. В сарайчике возникла какая-то неловкость. Капитолина бросилась было к патефону, но, покрутив ручку, выдернула ее, захлопнула крышку и решительно объявила:

– Вот что, хватит, идемте в кино. По воздуху пройдемся...

Вечер был душный и тихий, высоко в небе густо стояли звезды, извечная молчаливая тоска лилась сверху. Семен, шагая рядом с притихшей как-то Ольгой (Капитолина, Зойка и Вахромеев, похохатывая, ушли вперед), вдруг остро ощутил эту тоску. Под этими звездами, думал он, лежит сожженный поселок Лукашевка и много-много таких Лукашевок, лежит развороченная и обугленная земля, которой не дали по весне расцвести и не дадут осенью принять в себя семена. Потому и так печально над ней молчаливое звездное небо, вобравшее ныне в себя дымы неисчислимых пожаров, тяжкие стоны изувеченной земли...

Оля неожиданно и молча свернула в сторону, туда где среди пепелищ торчала, белея во мраке, печная труба. Вокруг уцелевшей печки были уложены пять или шесть венцов нового сруба. Неподалеку, на другой стороне улицы, стояло одинокое дерево.



– Вот, дед мой строится, – сказала девушка, став спиной к невысокой стене. – Никого у меня нет, один дедушка остался. Печка вот не разрушенная совсем. Дедушка обрадовался. «Кирпича-то, говорит, негде взять на печку, а нам и не надо...» Покуда вон в палатке живем.

Девушка кивнула куда-то, но Семен никакой палатки не увидел поблизости.

Потом он долго глядел на белеющую во мраке печь, вспомнил вдруг свой дом в Шантаре, такую же печку и подумал, что ведь печки – непременные участники жизни людской, вместе с людьми они делят человеческие радости и невзгоды, и судьбы у печек, как у людей, бывают разные, у каждой своя. И вот эта, уцелевшая при пожаре, но пока мертвая, давно остывшая, возродится к жизни, задымит, когда дом будет отстроен, возвещая, что жизнь неистребима и неостановима, какие бы несчастья и трагедии на нее ни обрушивались. И вот эта Олька залечит скоро все свои раны, хотя волосы на месте белых проплешин вряд ли отрастут, так и останутся эти проплешины на всю жизнь. Да и рубец на щеке, видимо, останется. Но дурак будет тот парень или мужик, который из-за этих проплешин и обезображенной щеки отвернется от нее. Может так случиться, и Олька это знает, чувствует и страшится. Но все равно, размышлял Семен, найдется рано или поздно человек, который возьмет ее в жены не из жалости к ее судьбе и ее мукам, который лишь поразится той цене, которую она заплатила, чтобы сохранить чистоту своего тела и своей души. И тогда она, благодарная, отдаст тому человеку всю себя, без остатка, она родит ему сыновей или дочерей, то есть исполнит то, что ей предназначено жизнью...

Так он думал, не зная, не предполагая всю глубину ее трагедии.

– А эти... Капитолина с Зойкой в самом деле партизанили? – спросил он, поворачиваясь к ней.

– Не веришь? – Олька усмехнулась невесело. Но Семен обрадовался, что она хоть так усмехнулась. – Они с Капитолиной поездов пять с немцами, с разными ихними машинами под откос пустили. Не считая всякого другого. Зойка – та особенно отчаянная...

Она помолчала.

– Как же это... такое с тобой, Оля? – проговорил он тихо.

Олька поняла, о чем он спрашивает, встрепелась вся, вытянула замотанную платком голову, часто задышала.

– Жалеешь меня?

– Да нет... – сказал машинально Семен.

– Ишь ты, гусь! – еще больше задыхаясь, прохрипела Олька. – Не жалко, значит! Ну да... что я тебе? Пришел – увидел, ушел – забыл...

– Что ты к словам-то придираешься? – рассердился и Семен. – По-человечески надо же... И говорить, и понимать.

– По-человечески! А вот ты... поймешь разве?

– Так ты расскажи...

Неожиданно Олька всхлипнула, уткнулась ему в грудь. Он почувствовал ее горячий лоб, растерялся, подрагивающими руками погладил по девичьим плечам, ощутив до пронзительности их беспомощность и доверчивость.

– Ну что ты, Олька? Не надо...

– Не надо... Конечно, не надо, – повторила Олька тихо и покорно, оторвалась от него. – Они добрые, Зойка с Капитолиной. Это они попросили, наверно, Вахромеева позвать тебя... А мне зачем?

– Да я же и не знал, что... что тут живешь ты.

– Вот и не ходи больше. А Вахромеев пусть ходит. После войны они договорились с Капитолиной пожениться. Капитолина влюбилась без памяти. Сколько было в отряде партизанских мужиков – она хоть бы тебе что, а тут в два или три вечера влюбилась. Вот как бывает

непонятно. «Хочу, говорит, чтоб к концу войны от тебя ребенок уже родился. Ты воюй, а я твоего сына хочу в это время в себе носить». Ты это ее желание понимаешь?

– Не знаю, – сказал Семен, чувствуя, что Оля говорит о чем-то большом и важном совсем не по-девчоночьи, по-взрослому.

– А я понимаю. Капитолина добрая. И Вахромеев тоже. Это хорошо, что они встретились друг для друга.

– Конечно... Ты знаешь, Оля, – сказал вдруг Семен, улыбнувшись, тронул ее за плечо, – ты тоже добрая и тоже встретишь такого же парня, который тебя полюбит, как Вахромеев...

Оля поехала, отодвинулась от его руки, замолчала. Семен, чувствуя какую-то свою вину перед ней, тоже ничего не говорил. Они стояли и молчали, а над ними печально горели звезды.

– Ладно, я тебе расскажу, почему я... как все произошло это, – тихо проговорила, почти прошептала Оля, потуже завязывая платок. – Я тоже хотела вместе с Зойкой и Капитолиной в партизанский отряд. Но меня попросили остаться тут. Лукашевка же станция хоть небольшая, а через нее поезда идут и идут. Я должна была следить, куда они идут, сколько и с чем составы. Кого-то надо было оставить, вот меня и оставили. И я следила, раз в неделю ко мне из отряда приходили, я им все передавала. А когда не приходили, значит, нельзя было, тогда я в условленном месте знаки оставляла...

– Какие знаки?

– Ну, всякие... Если клала три камешка один за другим, значит, три состава с разной техникой на Курск прошли. Ежели укладывала их кучей, значит, на Льгов. Каждый камешек значение имел. Плоский – танки, круглый – пехота... Целая азбука была у нас составлена. Но лучше, когда приходили. На словах-то все можно подробнее... И что на станции делается, что в селе.

Теперь она стояла, опустив голову. Будто забыла, что дальше ей говорить, и мучительно вот вспоминала. И вдруг опять еле слышно всхлипнула и заскулила тихонько, как щенок.

– Не надо, Оля, рассказывать, коль тебе трудно, – проговорил Семен.

– А у меня красивые волосы были, я их боялась, – неожиданно сухим голосом произнесла девушка, смахнула пальцами слезы с ресниц. – Потому что однажды три немца остановили среди поселка. Патрули. Платок сорвали с меня, волосы упали на плечи, они начали их... лазают в них холодными пальцами, бормочут по-своему. Один даже понюхал их. Потом спрашивает по-русски: «Где твой дом? Пошли!» Что же мне делать? Повела, иду, а сама думаю: на улице же, среди бела дня, не посмеют со мной ничего... А коли там, дома... Ну, там видно будет. У меня в сенях граната припрятана, может, сумею схватить... Они привели меня. Мать побледнела. Один немец, который волосы нюхал, говорит: «Ого, matka тоже не старая... Не пускай свою дочь на улицу, а то солдаты увидят...» И заготовили все, ушли, громяхая сапогами. Мать говорит: «Слышишь, надо скрываться, чуе мое сердце...» – «Ты, – говорю ей, – иди, а я не могу, ты же понимаешь... А волосы я обрежу...» А мать свое: «Олюшка! Я глаза ихние видела, надо уходить от греха». – «Да ты подумай, говорю, как я объясню своим, из-за чего уйти из поселка хочу, чего испугалась...» – «А так и объясни. Я сама вот объясню, нечего девку тут держать, давай укажи мне, как партизанов твоих найти, где они? Сама я твое дело лучше делать буду!..»

Над разрушенным поселком по-прежнему стояло полнейшее безмолвие, не лаяли собаки, их просто не было, немцы, объявившись тут в конце октября 1941 года, перестреляли их за неделю. Где-то, наверное, возле кирпичного сарая, служившего клубом, вспыхивал временами девичий смех и тут же гас, как бессильный огонек. Семену показалось вдруг нелепым и непонятным то обстоятельство, что поселок лежит в развалинах: ведь войны никакой нет, а те жестокие бои, в которых он сам участвовал под Сталинградом и тут, под Курском и Льговом, не то приснились ему, не то он когда-то видел все это в кино.

Олька вернула его к действительности своим уставшим, измученным голосом:

– Отец мой погиб на финской, с мамой мы, с дедушкой да бабушкой жили недалеко за Орлом, в деревушке Шестоково. А перед самой войной сюда переехали. Матери было сорок семь лет, но ее годы ей никто не давал, она была и в самом деле как девчонка, красивая, легкая. Немец тот правильно и сказал, что мама не старая... Ну, волосы я под корень обрезала и в самом деле стала думать, как же быть мне теперь, может, и вправду пусть мать объяснит все в отряде, мне самой этого не сделать, да и стыдно, а я могу и составы подрывать, как Зойка с Капитолиной... Жду я человека из отряда, а его все нет и нет. Это было осенью сорок второго, партизан в болота тогда оттеснили, никто и не мог ко мне прийти... И вечером... Дождь шел, помню, холодный, осенний. Загальдели, затопали в сенах, слышим. Мать опять побледнела и только сказала: «Вот оно... Я говорила!»

Голос у Ольки совсем обессилел, прервался, она часто и тяжело задышала, опять заплакала и потянула ладони к глазам.

– Нет, я не могу! Я самое страшное видела! Они маму на моих глазах изнасиловали...

– И не надо, хватит, – сказал Семен поспешно, чувствуя, как копится у него под черепом какой-то горячий взрыв.

– Что хватит? Что хватит? – Голос девушки вдруг зазвенел от ненависти. – Тебе... и слушать не вмоготу, а мне... Нет уж, послушай, ты! Чтоб знал, с кем воюешь!

– Да я знаю... Оля! – Он дотронулся до ее плеча.

– Не знаешь! Это я знаю! Разве это люди? Их разве женщины рожают?

Прокричав это, она затихла, лишь подрагивало ее плечо. Потом она повела им, требуя убрать руку, долго молчала, разглядывая что-то в темноте перед собой, кажется – белеющую посреди сруба печь, ладонью поглаживала бревно будущей стены дома.

– Их было четверо, немцев, – прежним уставшим голосом продолжала она. – Те трое и еще один какой-то... Они пришли пьяные, завалили стол фляжками, банками, объявили, что в гости пришли, керосину в канистре принесли. Предусмотрительные. Керосину в деревне ни у кого не было, как подступает ночь, пораньше укладываются все, чтоб засветло... Сами заправили лампу, зажгли. Потом тот, который нюхал мои волосы, подошел, смеясь, ко мне, сорвал платок, и смех его застыл на хорячьей морде. Лицо у него было острое, как у хорька. И глаза выпучились, чуть не полопались. Волос у меня не было, а вся голова в стружьях... Это бабка моя: «Что, говорит, делать-то, внученька, серной кислоты у меня где-то маленько есть в пузырьке, давай сожжем маленько кожу, тогда, может, побрезгают, не опоганишься об них, у бабы должна быть и душа, и тело чистыми, а болячки заживут». Я и... Только я не знала, что это так больно... Ну, да это ладно... В общем заревел немец коровой, кинулся почему-то к бабке, будто знал, что она меня научила, затряс ее. Она ему стала объяснять, тыкая в меня пальцем, что, мол, неизвестная болезнь девчонку начала есть, может, и заразная. «Ладно, – сказал немец по-русски. Долго они тут хозяйничали, сволочи, по-русски многие научились говорить. – Ты, старуха, ступай на улицу, не мешай нам...» И вытолкал бабушку в сени, захлопнул дверь. А деда не было дома, он в лес за хворостом пошел с обеда и еще не вернулся. Потом немец подошел к столу, начал пить прямо из фляжки. И вдруг крикнул что-то по-своему тем троим. Они набросились на мать, повалили ее прямо на пол, оборвали на ней худенькое платье. Прямо один немец схватил ручищей за ворот и рванул... Как она, мама, кричала и билась, они втроем ничего с ней сделать не могли. Потом один схватил банку с консервами и ударил ее по голове...

Олька говорила теперь все это голосом глуховатым, бесцветным, и Семену казалось, что он слышит не настоящий, живой голос, что к нему доносится откуда-то его эхо, то затихая, то усиливаясь. В груди его саднило, там растекалось что-то горячее, хотелось глотнуть хоть немного свежего и холодного воздуха, но воздуха вокруг не было, была черная, удушливая пустота.

– Я не знаю... я не видела, что было дальше, – пробивался откуда-то к Семену голос Ольки. – Я только слышала, как мама простонала последним стоном: «Доченька... не гляди, зажмурься...» Я не могла глядеть и без того, потому что немец... который из фляжки пил... царапал пальцами мои груди и живот. Он замотал мне чем-то голову... Он пытался справиться со мной на кровати... Я не знаю, как мне удалось его отбросить, он был сильный... Но он почему-то слетел с кровати, ударился вон об ту печку. Наверно, я как-то изогнулась и отшвырнула его ногами. Пока он вставал с пола, я сбросила с головы тряпку, метнулась мимо него в сени, там сунула в кошачий лаз руку и схватила гранату. Все произошло в какую-то секунду. Когда я с гранатой в руке метнулась к двери в комнату, немец только еще вставал с пола. А тот, который мать насиловал, повернул ко мне голову... Это я заметила. Повернул и моргает, моргает испуганно. И еще растрепанную голову матери увидела, почерневшие ее губы. «Доченька, бросай... бросай...» – прохрипела мама этими губами. Я выдернула чеку... Немец, который вставал с пола, шарахнулся назад, к тем троем, которые возле мамы. «Кидай же!» Это опять мама, голос ее расколол мне голову. И я... я кинула туда гранату... Какая-то сила шатнула меня было чуть вбок от дверного проема – убьет, мол, взрывом, – а другой голос долбит в голову: ну и пусть убьет, зачем дальше жить теперь?! Так и долбило, пока меня не отшвырнуло взрывом в угол сенок... Помню, будто молотом кто в лицо ударил. Это осколком меня сюда... – Она дотронулась пальцем до правой своей щеки.

Боли в груди Семен теперь не чувствовал, там все будто омертвело, опустело, зато в голове начался тяжкий и больной гуд, как от грохота ударившего в танковую броню снаряда. В глазах было черно, он поднял голову и взглянул на небо, рассчитывая и там увидеть одну черноту, но нет, звезды не погасли, они по-прежнему сияли в невообразимой высоте бесшумно и равнодушно.

– Дом от того взрыва загорелся и сторел, – продолжала меж тем Олька очень тихим голосом. – Когда он загорелся, в сени вползла с улицы бабка, застонала: «Господи, ты в крови вся! Убегай, спрятайся, коли можешь, – немцы на пожар бегут...» Не помню, как выползла я из сеней на крыльцо, побежала в темень через огороды. На краю деревни дедушку встретила с хворостом, он только охнул, бросил хворост... Потом побежал куда-то. Я, помню, долго сидела под дождем в кустах, все ждала его, оторвала от кофточка кусок, прижимала разорванную щеку тряпкой этой... Дед приплелся не скоро, плюхнулся мешком и еще долго лежал недвижимо... Потом сказал, что нету больше у меня и бабки, немцы ее забрали и не выпустят... И точно, ее повесили через два дня. Она сказала им, что это она кинула гранату в немцев, которые дочку ее опоганили... мою маму. Они, наверно, не поверили ей. Бабке разве кинуть гранату, она разве знает, как с ней обращаться? А я еще в школе обучалась... Но все равно бабушку повесили, нас с дедом искали... Да мы в лесу таились, а после в отряд кое-как пробрались...

Она замолкла, и Семен молчал, не в состоянии произнести что-то и понимая, что любые его слова будут сейчас жалкими и беспомощными. И долго они стояли так в безмолвии.

Наконец Олька вздохнула глубоко и сильно. Семен почувствовал, каким-то чутьем понял, что ей легче оттого, что она рассказала обо всем этом, что ей надо было об этом рассказать кому-то постороннему. Он пошевелился, и она, стоявшая к нему боком, неожиданно вскинула туго обвязанную платком голову, повернулась и, глядя прямо в лицо, проговорила отчетливо:

– Ты сказал, найдется для меня парень... А вот ты... можешь меня, такую... поцеловать?

Он потерянно молчал, удивляясь ее вопросу. Но это даже был не вопрос, а просьба, он это чувствовал по ее голосу.

– Ну; что же ты?! – воскликнула она насмешливо. – Немец тот, может, и заразный был. Так ведь только когтями по телу поскреб. А больше ко мне ни один мужик не притрагивался... Ну? Сейчас темно, болячек моих не видно... Ну?!

Девушку била истерика. Глаза ее сверкали, вся она дрожала, и это странным образом действовало на Семена.

– Ну что ты... что ты? – произнес он, шагнул к ней, взял ее за плечи и, чуть склонившись, хотел отыскать ее губы.

Но она тяжело дыша, повела головой в сторону, вывернулась из его рук, отбежала прочь. Возле одиноко торчащего на другой стороне улицы дерева остановилась, обернулась.

– Жалельщик какой нашелся! – крикнула она с яростью. – Это все они, Капитолина с Зойкой... А мне не нужно! Ничего не надо, ноня-атно?

«...атно-о!» – эхом взлетел в молчаливое звездное небо ее крик.

Когда эхо умолкло, девушки возле дерева уже не было.

\* \* \*

Под вечер четвертого июля Дедюхин был вызван к командиру роты, вернулся оттуда красный, взъерошенный.

– Пос-строиться! – прошипел он, как гусак, своему экипажу, и, когда подчиненные встали у машины, командир танка, пройдясь взад-вперед вдоль малочисленного строя, остановился напротив Вахромеева.

– Воротничок чистый пришел уже? Та-ак! – угрожающе протянул он.

– Товарищ старший лейтенант, я...

– Молчать! – взвизгнул Дедюхин, багровея от натуги. – А под трибунал не хочешь?! А? – И повернулся к Ивану Савельеву: – А ты куда смотришь? Куда, я спрашиваю? Ежели и племянничка твоего, – Дедюхин ткнул пальцем в Семена, – под трибунал? Вот если бы сегодня к бабам своим умотали в Лукашевку?.. Ишь, воротнички чистые пришли...

Дедюхин бушевал бы, может, еще долго, но заурчал приближающийся грузовик, и командир танка проговорил устало:

– Ладно, я вас еще мордой об землю пошоркаю. Взять на борт два боекомплекта!

Больше Дедюхин ничего не стал объяснять, но все и без того понимали, что вольное житье, к которому уже как-то привыкли, кажется, кончается.

Приняв боеприпасы, начали протирать снаряды, потом все, кроме Дедюхина, снова вызванного к ротному, пошли к берегу речки вымыть заляпанные снарядной смазкой руки. Весь день пекло, зной не спадал и к вечеру, хотя солнце уже было в нескольких метрах от горизонта...

В ожидании дальнейших событий все толпились вокруг танка. Вахромеев, встревоженный и обеспокоенный, непрерывно спрашивал сам у себя:

– Интересно, успеем ли поужинать? Вот в чем вопрос. – И сам же себе отвечал: – Ох, чую – не успеем. Открывайте, братцы, святцы...

– Что ты ноешь-то? – рассердился Иван. – Прямо жилы из всех тянешь и тянешь.

Вахромеев обиженно хмыкнул и скрылся из глаз. Иван подошел к Семену, сидящему под березкой с разломаченной корой, опустился рядом, вынул вчера полученное из дома письмо, стал перечитывать.

– Чего пишут-то? – спросил Семен.

– Да что! Тоже хлещутся там. Панкрат Назаров все кашляет. Шестьсот центнеров хлеба, пишет Агата, колхозу прибавили сдать сверх плана, а жара посевы выжигает.

– Мать как там?

– Про мать ничего в этом письме... Школьников из Шантары, пишет, на лето по колхозам разослали, в Михайловку тоже вроде прибыли. И еще ждут. Детям тоже достается.

Дядька Иван с самого отъезда на фронт был малоразговорчив, в Челябинске, где их распределили по разным частям, он только сказал Семену:

– Прощай, выходит. Может, и не увидимся больше... Оно ведь как судьба выйдет.

Благодаря объявившемуся в Челябинске Дедюхину они не только увиделись, но вот год уже почти воюют вместе. Дядя Иван будто носил постоянно в себе что-то невысказанное и больное. Когда было можно, Семен оказывал ему всякие пустяковые услуги, следил, чтобы поудобнее место для ночлега было, чтобы суп в его котелке оказался погуще... Иван все замечал, глаза его теплели, но вслух никаких благодарственных слов не высказывал.

Перечитав в который раз истершееся уже письмо, Иван оглядел листок со всех сторон, будто отыскивая, не осталось ли где не замеченное им слово, аккуратно сложил, спрятал в карман. Минуты две-три смотрел куда-то перед собой, на измятую солдатскими сапогами, втопанную в землю траву.

– Сколько все ж таки сил человеческих у баб? А мы их, случается, не шибко-то и жалеем...

Семен опустил голову, думая, что дядя Иван имеет в виду его хождения к Ольке в Лукашевку, но он говорил пока о другом:

– Чего Агатка моя в жизни видела? Слезы да горе. Холод да голод. А вот в каждом письме меня еще обогреть пытается...

И, еще помолчав, задал вопрос, которого Семен боялся:

– Чего там у тебя с Олькой этой?

Семен ответил не сразу.

– Ничего, – проговорил он и поднялся.

– Так ли?

Иван спросил это, глядя снизу вверх, Семен стоял, чуть отвернувшись, но взгляд его чувствовал. Он слышал под подошвой сапога какой-то острый предмет – не то камень, не то сучок, это его раздражало, он двинул ногой, чтоб отбросить тот предмет, но, когда поставил ногу на место, под подошвой было то же самое, – наверное, это просто торчал из земли корень.

– Ты что же... жил с ней?

– Ну, жил, жил! – вскрикнул Семен, поворачиваясь к Ивану.

– Та-ак. С-сопляк! А жена, Наташка? Ну, чего в рот воды набрал? Отвечай!

Ответить Семен ничего не успел – издали послышался шум заводимых танковых моторов, стал приближаться. Иван вскочил с земли. Появился из-за кучки деревьев Дедюхин, издали махая рукой. Этот знак все поняли, выстроились возле машины. Дедюхин, подбежав, схватил болтающийся у колена планшет, раскрыл его.

– Слушай боевой приказ...

Мимо по размоленной гусеницами просеке, заполняя ее синими клубами сгоревшей солярки, уже с ревом неслись танки. Дедюхин только крикнул:

– В машину! На дорогу Фатеж – Подольня. Там я скомандую...

Через несколько минут тяжелый танк, подминая молодые деревца, выскочил на дорогу. С час или полтора шел в колонне других машин. В смотровую щель Семен ничего не видел, кроме подпрыгивающего на рытвинах впереди идущего танка да мелькавших по сторонам деревьев.

Потом Дедюхин скомандовал взять влево, шли каким-то лугом уже в одиночестве, продрались сквозь негустой лесок, взлетели на лысый холм. Семен увидел впереди участок дороги, огибающей небольшое заболоченное озерцо. Дорога выворачивала из того самого леска, который они миновали, и пропадала за камышами.

Когда танк спустился с холма, Дедюхин приказал остановиться. Он выскочил из машины, пробежал вдоль отлогого холма, поросшего на склоне всяким мелким кустарником.

– Ну, мужики-сибирячки! Тут наша песня, может, последняя и будет.

У Семена прошел меж лопаток холодок. Дедюхина он видел всяким, но таким еще никогда: щеки серые, губы плотно сжаты, он говорил, кажется, не разжимая их, и не понятно было,

как же он выталкивает слова. Глаза блестели остро, пронзительно, во всем его облике было что-то сокрушающее, неудержимое.

– Предполагается, что утром немцы двинутся. Передохнули, сволочи... Наша задача до удивления простая: по этой дороге, – Дедюхин махнул в сторону озера, – не пропустить ни одного танка. Сколько бы их ни было...

– На этой дороге их целый полк уместится. Что мы одной машиной? – проговорил Вахромеев.

– Сколько бы их ни было! – повторил Дедюхин, продавливая слова сквозь губы. – Я сам... сам этот участок дороги выбрал. Мы их тут намолотим. А, Егор Кузьмич?

Алифанов глянул на опускающееся за горизонт солнце, будто хотел попрощаться с ним. Все невольно поглядели туда же. Потом подправил согнутым пальцем один ус, другой. И сказал:

– Как выйдет, конечно... Постараемся.

Иван стоял прямо, скользил прищуренным взглядом по дороге, голова его медленно поворачивалась.

– Взять лопаты. Танк закопать, – распорядился Дедюхин.

Капонир рыли дотемна, сбросив гимнастерки. Соленый и грязный пот ел глаза, протирать их было нечем, некогда, да и бесполезно.

Уже в темноте Семен задним ходом задвинул танк в земляную щель, сверху его закидали нарубленными ветками. Дедюхин приказал срубить еще несколько деревьев, вкопать их перед танком так, чтобы они, не мешая обзору и обстрелу дороги, надежно маскировали машину. Когда это было исполнено, он ушел на дорогу, по-хозяйски осмотрел ее, будто ему предстояло завтра с утра приняться за ее ремонт, а не корежить снарядами. Вернулся и решил достать на ужин НЗ.

– Обмыть рыло бы, – пробурчал Вахромеев.

– Ничего... Не на свиданье собрался к этой своей, – буркнул Дедюхин. И неожиданно для всех улыбнулся. – Сладкая баба у тебя. Я видел как-то. А его вот, Савельева, зазнобу не знаю. Ишь вы, какие жеребцы! Поди, всю землю вокруг них копытами изрыли?

Дедюхин говорил теперь добродушно, Семен глянул на ковырявшегося в консервной банке Ивана, но тот, хмурый, промолчал.

Ели все вяло, усталость разламывала кости.

– Ну что ж, давай, дядя Ганс... – произнес Дедюхин неожиданно. И не совсем понятно добавил: – А настелить гать – не в дуду сыграть. Мы те сами заиграем, а ты попляшешь. А теперь всем спать, Савельев Иван, глядеть за дорогой. В три часа меня разбудишь, если все будет тихо.

И он первый улегся на теплую рыхлую землю, мгновенно захрапел.

Семен, облюбовав себе место для сна, наломал веток, застелил землю. Снял сапоги, положил их под голову, засунув в голенище для мягкости воняющие потом портянки. Укладываясь, он боялся, что дядя Иван захочет продолжить разговор об Ольке, но тот молчал, только все скреб ложкой в консервной банке.

Стояла удивительная тишина, как уже много недель подряд. Немецкий передний край отсюда был километрах в трех-четыре, но этого не чувствовалось. Где-то далеко то в одном месте, то в другом небо слабенько озарялось колеблющимся светом и гасло – это время от времени взлетали над линией фронта осветительные ракеты.

Пока рыли капонир, стояла плотная духота, а сейчас тянул со стороны озера ветерок, и, кажется, начали набегать тучки, в звездном небе, как в порванном решете, зияли черные дырки. Семен глядел на эти темные пятна, думал о Наташе, а перед глазами стояла Ольга, маленькая и беспомощная, с оголенными грудями, торчащими в разные стороны, просящая у него не любви, а просто ласки, как умирающий от жажды просит, наверное, глоток воды. «А

может, я буду тем и счастливая, Семка!» – стонала она, глядя на него умоляюще и униженно, в глазах ее не было мертвенной пустоты, они горели сухо, пронзительно, немного болезненно, но по-человечески. «Как ты не поймешь?! Мне от тебя ничего не надо, только эту минуту...»

Она просила откровенно, униженно, оскорбляя себя и его, и у него мелькнуло тогда, что в ней проснулось что-то животное. Но, мелькнув, эта мысль пропала или он ее просто отогнал, потому что она по отношению к Ольке была все-таки несправедлива, чем-то марала ее. Еще он подумал, что смертельно оскорбит эту девчонку именно тем, если отвернется... Он шагнул к ней, одной рукой обнял за плечи, другой скользнул по ее груди, обжигаясь. Она запрокинула плотно повязанную платком голову и жадно нашла сама сухими, сгоревшими губами его губы. Ноги ее подогнулись, она своей тяжестью потянула его вниз, на землю, а потом от женского чувства впервые испытанной любви застонала мучительно и радостно. Мозг ему больно порезало, что когда-то так же вот застонала и Наташа, и он только тут с ужасом очнулся, в голове было пусто и гулко, там будто кто-то молотил палкой по железному листу...

...Так оно вот и случилось, думал сейчас Семен, слушая, как похрапывает Дедюхин. И винить в этом он не мог ни себя, ни Ольку, девчонку все-таки непонятную ни в словах, ни в поступках. А может быть, и понятную, подумал вдруг Семен, но только изломанную войной, измученную всем тем, что ей пришлось пережить. Этим все и объясняется...

Семен припомнил все встречи после той, первой, когда она спросила, смог ли бы он ее поцеловать, и когда она вырвалась из его рук, закричав враждебно: «Жалельщик какой нашелся...» И она действительно была, кажется, оскорблена тем случаем, в сарайчик к Капитолине и Зойке приходила редко, а когда приходила, то на Семена не глядела, демонстративно отворачиваясь.

– Зачем ты, Оля, так со мной? – спросил однажды Семен. – Ведь я тебя никак обидеть не хотел.

– А я и не обиделась, – сухо ответила она. – А рубец на щеке стал вроде поменьше, понятно?

– Конечно, все заживет.

– И волосы отрастут, ты думаешь? – спросила она помягче.

– Не знаю.

– Вот и доктор сомневается. Плешивая буду... всю жизнь. – И она всхлипнула.

– Оля, не надо...

– Отстань ты! – вскрикнула она опять в гневе, встала и убежала.

Он перестал ходить с Вахромеевым в Лукашевку. Но как-то через неделю или полторы тот сказал:

– Капитолина опять... просит, сходил бы к Ольке.

– Да я вам что, шут гороховый? Дурачок для... для...

– Ну, может, и дурачок, – сказал Вахромеев как-то странно, со вздохом.

– Катись ты со своей Капитолиной!

– Т-ты! Сержант! – Вахромеев подскочил, схватил его за грудки было, сверкая глазами.

Но Семен вдруг вспомнил полузабытый прием самбо, Вахромеев отлетел, согнувшись от боли, изумленно выдохнул:

– Дедюхин! Товарищ старший лейтенант!

– Что такое? – появился из блиндажика, который они соорудили для себя, командир танка.

– Он, зараза... приемы знает какие-то.

– Какие приемы вы знаете? – строго и официально спросил Дедюхин.

Все это кончилось тем, что сам старший лейтенант раза два очутился на земле, а потом потребовал:

– Два часа в день будете заниматься со всем экипажем. Может каждому пригодиться.



– Да я же все перезабыл, товарищ, старший лейтенант. Когда это было-то...

– Выполняйте, – козырнул Дедюхин.

И Семен стал заниматься – учил Вахромеева, Алифанова и самого Дедюхина зажимам, захватам, подножкам. Только дядя Иван после двух-трех уроков от обучения наотрез отказался, заявив, что возраст его все-таки не для самбы этой...

– Ладно, – сразу согласился Дедюхин. – Продолжите с желающими.

В Лукашевку Семен все же пошел. Ольга встретила его молчаливо и виновато, они говорили о том о сем, раза два он слышал даже ее смех – тихий, робкий. Рассмеется – и сама вроде удивится: она ли это хохотнула? Замолкнет, прислушиваясь к чему-то в себе. Потом она начала его расспрашивать о Сибири, о семье, о Наташе.

– Счастливая она, твоя Наташка, – вздохнула Ольга однажды.

– Ей тоже... столько пришлось пережить.

– Значит, ты ее любить сильнее должен, – сказала она задумчиво.

Как-то Ольга весь вечер была молчаливой, подавленной, ни в какой разговор с Семеном не вступала и под конец разрыдалась.

– Ты что, Оля? Устала? Иди отдыхай. Я тебя провожу.

– Нет, я боюсь спать. Как засну, мне мама снится. Ведь это я ее... Ну что ж, они, немцы, надругались над ней. Но ведь жила бы!

– Что ж... конечно, – сказал Семен, чтобы что-то сказать.

Но Ольга полоснула его глазами.

– Нет, после такого... нельзя жить. Незачем, понятно?!

Прощаясь, она спросила:

– Как ты думаешь, если б папа был жив... и он бы узнал об этом, что они с мамой... мог бы он ее еще любить?

– Ты, Оля, такие вопросы задаешь...

– Разве мама виновата? Или я... если бы сумел тот немец? Ну, в чем я была бы виновата?

– Ты бы сама... не стала жить. Ты же только что сказала.

Она поглядела на него внимательно, не мигая, глазами холодными и суровыми. Ольга была чуть ниже его ростом, она положила руки ему на плечи, привстала на носки, приблизила свое лицо вплотную к его лицу, выдохнула:

– Правильно... Это с нашей, с женской стороны. А с вашей, мужской? Ну?

Он молчал, чувствуя, что никогда не будет в состоянии ответить на такой вопрос. Она поняла это, вздохнула, отпустила его, потихоньку пошла прочь, нагнув к земле голову...

А в тот вечер, когда все произошло между ними, Ольга была необычно оживлена – он никогда еще не видел ее такой – и много смеялась. Вдруг она спросила, когда последнее письмо пришло от Наташи. Семен сказал, что неделю назад.

– Дай мне его почитать, а? – попросила она. – Не вздумай мне врать, оно у тебя в кармане лежит, вот в этом.

– Откуда же ты знаешь?! – изумился Семен.

– Я теперь все на свете знаю, – сказала она.

Было еще относительно светло, они стояли на окраине разрушенной Лукашевки, в крохотной березовой рощице, не тронутой ни снарядами, ни танковыми гусеницами. Ольга любила это место, и они уже не раз тут бывали. В небе гас закат, пространство быстро наливалось темнотой. Ольга выхватила из его рук сложенный вдвое треугольник, вслух начала читать, одновременно опускаясь под березку:

– «Родной мой и милый Сема! Моя единственная любовь...»

Голос ее заглох, она что-то тяжело проглотила и дальше стала читать молча. Семен стоял рядом и краснел, потому что знал, о чем читает Ольга. Наташа писала, как и в каждом письме, о любви к нему, но в этом еще и описывала свои ощущения, которые она испытывает, когда

крохотная Леночка сосет грудь: «Я забываю от счастья обо всем на свете, я вспоминаю твои нежные руки и губы, Сема, я чувствую себя где-то не на земле...»

Прошло времени вдвое, а может быть, втрое больше, чем требовалось на чтение письма, а Олька все глядела и глядела в бумажный листок. Затем медленно подняла голову, снизу вверх взглянула на Семена глазами, полными слез, и начала медленно вставать. Губы ее тряслись и что-то шептали.

– Я хочу быть... хоть на минуту... на ее месте, – разобрал наконец Семен ее слова и невольно отступил.

А она, уронив письмо и все глядя на него, расстегнула на кофточке одну пуговицу, другую...

– Олька! – пробормотал Семен смущенно и глупо, пытаясь отвернуться от блестящих бугорков ее груди. – Ты же только что читала... про Наташку...

– Семен, Семен! – прошептала она с мольбой. – Ты о чем говоришь-то... сейчас? Как тебе не стыдно!

– Ты будешь жалеть...

– Я этого сама хочу! Назло тому фашисту... хотя и мертвому! Назло тем, которые маму... – Она задыхалась. – Ну, что же ты?!

Усилием – не воли даже, а сознания – он еще сдерживал себя. А может быть, его смущало белеющее на черной траве письмо...

– Брезгуешь, да? – выкрикнула она хрипло.

– Ты будешь проклинать себя потом за эту минуту...

– А может, я буду тем и счастливая, Семка! Как ты не поймешь?! Мне от тебя ничего не надо, только эту минуту...

...Потом Олька плакала, положив обвязанную платком голову ему на колени, а он тихонько гладил ее по голове.

– Пусть твоя Наташа на меня не обижается. От ее счастья не убудет, – проговорила она, пытаясь унять слезы. – Я бы на ее месте не обиделась.

Затем она подняла письмо с земли, свернула, положила ему в карман.

– Ты напиши ей хорошее-хорошее письмо. О том, как ты ее любишь и думаешь все время о ней...

Семен только усмехнулся.

– Я же изменил ей.

– Не-ет! – Она вскочила, ее всю заколотило от гнева. – Не-ет! Ничего тогда ты не понимаешь! Это было один раз... единственный и последний.

И действительно – единственный и последний. Семен бывал потом еще в Лукашевке неоднократно, видел и Ольку. Она как-то изменилась, вся подобралась, стала еще более таинственной и непонятной. Она с ним разговаривала непринужденно, но мало, больше молчала, думая о чем-то своем. Иногда, почувствовав его взгляд на себе, сразу умолкала, смущалась и старалась отвернуться. Наедине с ним она больше не оставалась.

А потом она исчезла из Лукашевки. Капитолина сказала:

– Она поступила работать пока в госпиталь.

– Что значит пока?

– Ну, пока не вылечит рубец на щеке. Ей обещали срезать его, операцию сделать. «Потом, говорит, пойду в краткосрочную школу разведчиков». Меня тоже Алейников приглашал в эту самую школу, да я... – Она опустила голову, пряча глаза. – Вахромейчик меня вроде зарядил наконец-то.

– Кто-кто?! – спросил Семен удивленно.

– Вахромейчик, кто же еще, – обиженно сказала Капитолина.

– Я спрашиваю: кто Ольку... пригласил?

– Да майор Алейников Яков Николаевич, начальник прифронтовой опергруппы НКВД. Мы же все – и я, и Зойка, и Ольга, – как говорится, в тесном контакте с ним работали. Хороший он дядька, добрый, только малоразговорчивый.

– У него шрам есть на левой щеке?!

– Шрам? Вроде есть. Не такой, конечно, как у Олюшки нашей, маленький такой, незаметный. А что?

...Засыпая, Семен уже думал не о Наташе и Ольке, а о Якове Алейникове, человеке, сыгравшем зловещую роль в судьбе дяди Ивана, сутулая спина которого вон маячит в темноте, в судьбе многих... Тень Алейникова скользнула где-то и возле его жизненного пути. И кто знает, задела или не задела его эта тень, как сложились бы его отношения с Верой Инютиной, не вклинься тут Алейников. А теперь, оказывается, он где-то здесь, занимается какими-то своими делами. Вот война! Людская круговерть и месиво, а старые знакомцы могут встретиться...

Проснулся Семен оттого, что качнулась под ним земля. Он вскочил, ничего в первые секунды не понимая, слыша только, как яростно колотится в груди сердце. Стоял невообразимый грохот и вой, на той стороне, где взлетали недавно осветительные ракеты, горело по всему горизонту зарево, в багрово-красном отсвете тяжело и лениво клубились черные облака, беспрерывно ухали взрывы.

Смахнув рукавом слюну с уголка губ, он взбежал на вершину холма, где стояли Дедюхин и Алифанов. И едва взбежал, в левом краю горизонта высоко вспучились кроваво-черные пузыри, их разрезали желтые огненные полосы, а потом стало видно, как заплясало над землей пламя.

– В склад боеприпасов им врезали, – сказал Алифанов.

Дедюхин глянул на светящийся циферблат часов, произнес:

– Два двадцать три... – и повернулся к Семену, сообщил, будто тот не понимал теперь, в чем дело: – Наши лупят. Артподготовка. Значит, началось.

Невообразимая артиллерийская канонада стояла минут тридцать, потом разом стихла. Вяло и редко полаяли еще немецкие пушки, но и они умолкли. Тишина установилась мертвая, глухая, она больно давила в уши. И у Семена мелькнуло: если бы не пылающий в черноте ночи горизонт, можно подумать, что невообразимый артиллерийский гул ему просто почудился, приснился.

– По местам, – тихо и будто нехотя скомандовал Дедюхин.

Все побежали к танку.

Откинувшись на сиденье, Семен задремал. Он понимал, что его дело теперь маленькое, заводить танк придется не скоро, если придется вообще.

– Сержант, не дрыхнуть! – ударило по ушам. – Спишь ведь?

«Вот чертов Дедюхин, все чувствует, – подумал Семен, с трудом размыкая тяжелые веки. – А может, я храпел?»

– Никак нет, не сплю, – ответил он.

– Ври у меня! Гляди... Всякое может произойти.

– Понятно...

Над землей маячил рассвет, над озером, над камышами, подымался белесый утренний парок. Все это Семен видел в смотровую щель и даже расслышал, как ему показалось, утиный крик. Но тут же сообразил, что именно показалось, никакие птичьи голоса с озера достигнуть до танка, а тем более проникнуть внутрь не могли.

Скоро туман над камышами стал гуще, все сильнее белел, а потом заголубел и неожиданно окрасился в нежно-розовый цвет. Он поднимался почему-то столбами, только эти столбы были живыми, они качались, и Семен понял, что это потянул над озерком утренний ветерок.

Было уже совсем светло, где-то сбоку брызнуло вскользь по земле первое солнце, его лучи засверкали ослепительно на верхушках камышей, отражались в листьях осиновых рощиц, толпившихся по противоположному берегу озера. И было каким-то странным и нелепым то обстоятельство, что опять тишина взорвалась, забухали пушки с той и с другой стороны, а потом стало слышно, как над головой угрожающе яростно заревели самолеты. Семен не видел их, но понимал, что это были вражеские самолеты, он отличал их по глухому, натуженному реву. «Хорошо, что сверху замаскировались», – подумал он и лениво зевнул. Несмотря ни на что, спать все же смертельно хотелось, и веки сами собой закрылись.

Сколько Семен продремал на этот раз, он не понял, но, видимо, не очень долго, потому что верхушки камышей все так же сверкали от низкого солнца. Он очнулся от голоса дяди Ивана, доносившегося снаружи:

– За тем лесом движется столб пыли! Однако на нашу дорогу.

– Понятно, – ответил Дедюхин.

Потом загремел верхний люк, и Семен понял, что дядя Иван был послан куда-то наблюдающим, теперь вернулся, вместе с Дедюхиным они влезли в танк, теперь весь экипаж снова на местах, и сейчас начнется то, ради чего они тут оказались. «Тут наша песня, может, последняя и будет...» – вспомнил Семен вчерашние слова Дедюхина. Вся дремота с него мгновенно скатилась, никакого страха, как вчера вечером, он не чувствовал, только ощутил, как горят почему-то ладони. Он взялся за рычаги, хотелось, неудержимо хотелось нажать на кнопку стартера, бросить танк вперед, навстречу этому движущемуся столбу пыли. Что там, на дороге? Может, грузовики с фашистами? Захрустели бы только под гусеницами железо и кости! Или вражеские танки! Ну что ж, все равно...

Думая так, Семен понимал, что это не все равно, одним танком против пятидесяти не очень-то поспоришь... И кроме того, его желание – ничто, они должны пока стоять здесь, в отрытом ими капонире, замаскированные, невидимые до поры до времени для врага, – таков замысел Дедюхина или еще кого-то, и он должен быть выполнен.

Семен убрал ладони с рычагов.

Вскоре он увидел и сам столб пыли, о котором говорил дядя Иван. И тут же на дорогу, выворачивающую из-за лесочка, вылетели немецкие мотоциклисты. Мотоциклов было штук пять или шесть, они летели стремительно, поливая из пулеметов придорожные кусты.

– Командир! Товарищ старший лейтенант?! – вскричал Вахромеев.

– Я тебе дам... – И Дедюхин зло и густо выматерился. – Завяжу тебе конец в такой узел – Капитолина слезами изойдет, а не развяжет. Поставить пулемет на предохранитель! И молчок у меня! Ты чего там, Алифанов?

– Ладно, не лайся, – буркнул командир орудия. – Все в порядке.

– Счас, Савельев Иван, будет тебе работка. Только поворачивайся! Взмокнешь, приготовил бы полотенце усы обтирать.

– Ничего, привычные, – ответил Иван.

Пока шел этот разговор, мотоциклисты пронеслись. Пыль, поднятая ими, медленно оседала. До конца рассеяться она не успела, как из-за леса на повороте дороги показался первый немецкий танк, следом за ним – второй, третий... Семен затаил дыхание:

– Ну, Алифанов... – прохрипел привычно Дедюхин. И добавил: – Егор Кузьмич, дорогой...

– Да знаем, что ты уговариваешь! Иван, ты мне чтоб сноровисто, без суеты.

– Соображаем, – буркнул тот.

Фашистские танки ползли и ползли из-за поворота. Пять, восемь... четырнадцать... Семен считал их, а они все ползли, и казалось, не будет им конца. «Да чего же Алифанов-то? – тревожно мелькнуло у Семена. – Ведь пройдут... Шестнадцать, семнадцать...»

Семен слышал, что работает поворотный механизм башни, понимал, что Алифанов держит на прицеле головной танк. «Не успеет... Сейчас фашист скроется за роццей! Вон уже девятнадцатый ползет. Девятнадцатый!..»

– По немецко-фашистскому врагу... – свистящим голосом произнес Дедюхин, тяжело дыша.

Слово «огонь» Семен почему-то не услышал. От выстрела его немножко качнуло на сиденье, в то же мгновение он увидел – из бока переднего вражеского танка вспучился комок огня и дыма, танк крутануло, он развернулся навстречу своим же машинам, закивал длинным пушечным стволом, будто выбирая цель, но не выстрелил, замер... Следующий за ним танк начал, не сбавляя было скорости, обходить подбитую машину, но Семена опять чуть качнуло, и под тем, вторым вражеским танком вздыбилась земля, он накренился, задрал ствол в небо, остановился и запыхал, как и первый, жирным, густым дымом, дорога была наглухо закупорена. «Ага! – злорадно подумал Семен. – Сейчас в хвост колонны...» И, будто подчиняясь мыслям Семена, Дедюхин прокричал в шлемофоне:

– Хвостатый вон раком пятится! Уйдет гад.

– Что ж, раком-то оно им так и определено природой, – спокойно пробасил в шлемофоне Алифанов. – Иван, чего копаешься?

Опять, в третий раз, ударила пушка. И задний немецкий танк перестал пятиться, будто раздумал, но развернул орудие в сторону холма и выстрелил. Снаряд ухнул где-то в стороне.

– Не видит, а плюется, – взвизгнул Вахромеев.

– Хорошо, если не видит...

От четвертого снаряда вспыхнул четвертый фашистский танк, в один момент оделся пламенем, как стог пересохшего сена. «Вот паразит, до чего же знает свое дело!» – с невольным восхищением подумал Семен об Алифанове, молчаливом человеке, неповоротливом каком-то, неловком, ходившем по земле обычно так, будто ему было тесно на ней...

\* \* \*

Солнце уже давно оторвалось от горизонта, полезло вверх, тяжело качалось, как большой красный поплавок среди дымных волн, хлеставших по земле и по небу. Немецкая пехота и танки, оправившись от упредительного удара нашей артиллерии, двинулись в наступление сразу по всему Центральному фронту, на многокилометровом пространстве развернулось ожесточенное сражение. Двух месяцев почти мертвого затишья как не бывало.

Все эти долгих два месяца обе стороны наращивали силы: немцы – для решающего наступления, советские войска – для неприступной обороны, а потом для сокрушительного контрудара. Теперь эти силы были приведены в действие. С той и другой стороны непрерывно колотили пушки, из клубов дыма с ревом вырывались немецкие самолеты, засыпали бомбами наши окопы, утюжили их на бреющих полетах, поливая пулеметным огнем. По всем дорогам двигались колонны гитлеровских танков, разворачивались на открытых пространствах, шли, рыча, на наши позиции, стараясь прорваться в тыл. За танками двигались бронетранспортеры с пехотой. Эту стальную лавину, казалось, невозможно было остановить. Прорвавшись сквозь заградительный огонь тяжелой артиллерии, фашистские танки во многих местах подошли вплотную почти к нашим окопам, где по ним прямой наводкой били из противотанковых пушек и ружей. Многие вражеские машины загорались, остальные шли и шли упрямо вперед сквозь грохот, вой и дым, за ними бежала спешившаяся пехота. Кое-где немцы вклинились уже в расположение наших войск...

Всего этого в подробностях танковый экипаж старшего лейтенанта Дедюхина, конечно, не знал, хотя каждый понимал, что началось всеобщее остервенелое наступление немцев и что тут, под этим невысоким холмом, может, и будет, как сказал вчера Дедюхин, их последняя

песня. Ни сам Дедюхин, ни Алифанов, ни Вахромеев, ни Иван и Семен Савельевы не знали, что только на том крохотном участке фронта, который оборонял в составе других подразделений и их гвардейский танковый полк, двинулись в наступление три немецкие пехотные дивизии при поддержке почти пятисот танков, что проселочная дорога Подолянь – Фатеж была помечена на немецких картах как особенно важная, ибо по ней можно было перебросить любые воинские соединения в тыл частям Красной Армии, обороняющим крупный опорный пункт – село Ольховатку, – и что тот участок этой дороги, на котором Дедюхину было приказано любой ценой задержать танки противника, на тех же немецких картах был помечен как особенно опасный, потому что пролегал по топкой ложине, а с одной стороны было даже небольшое озерко. В случае чего танкам в сторону не съехать и не развернуться, если не настелить гать.

Но вот это-то последнее обстоятельство очень хорошо знал со слов командира роты Дедюхин, а вчера и сам обследовал правую обочину дороги – топкая полоса метров в семьдесят шириной действительно тянулась вдоль дороги. Потому-то и, довольный, произнес вчера после ужина эти слова, не совсем понятые экипажем: «Ну что ж, давай, дядя Ганс... А настелить гать – не в дуду сыграть. Мы те сами заиграем, а ты попляшешь». И вот теперь немцы «плясали». Танкам нельзя было двинуться ни взад, ни вперед. С обоих концов участок дороги был наглухо закупорен. Две-три машины попробовали было развернуться и обойти горевшие впереди танки по обочине, но тут же попятились назад, на дорогу, встали поперек ее неуклюже.

Сначала немцы не могли определить, откуда же их машины расстреливают почти в упор, вертели в разные стороны стволами, лупили в каждое подозрительное место.

– Поворачивайся, Алифанов! – хрипел Дедюхин, тяжело дыша. – Вон третий справа на нас наводит! Должно, засек...

Третий справа после двух выстрелов Алифанова окутался, как паром, белым облаком, потом из него повалил черный дым. Немцы полезли из люков.

– Товарищ старший лейтенант! – взмолился стрелок-радист Вахромеев.

– Молчать! Беречь патроны. Еще пригодятся, чую... А что нам эти фрицы?

Орудие Алифанова стреляло и стреляло. Семен сперва считал выстрелы, а потом со счета сбился.

Неожиданно по броне громынуло оглушительно, со звоном, звон мелкой осыпью запел в ушах Семена и еще не затих, как в броню ударил еще один снаряд, порвав, кажется, перепонки, в смотровую щель влетел осколок, ударился где-то сбоку в броню и упал на колени. Семен удивился, будто это было что-то необычное, взял маленький, но тяжелый и острый осколок железа. Он был горячим, обжигал пальцы.

Семен закрыл смотровую щель, в груди испуганно и радостно стучало: «Надо же! Екнуло ли у тебя сердце, Наташка?»

– Засекли, сволочи! – прокричал Дедюхин будто издалека. – Иван, с усов капает?

– Да, малость смокли, – отозвался Иван.

– Не каплями, ручьями стекает, весь замок забрызгал. – В голосе Алифанова была почему-то недовольная усмешка. – Лишь племянник его да Вахромеев сегодня вроде бы выходные... Сколько же мы, Иван Силантьевич, штучек нащелкали?

– Не знаю... Один боекомплект подходит к концу, – доложил Иван. – Семь, что ли, танков... Или девять?

– Одиннадцать! Понял? Одиннадцать! – что есть силы заорал Дедюхин.

– Да я до десяти только не путаюсь. Сейчас попробуем двенадцатый... А черт, ни хрена не видно!

Действительно, от горящих танков вдоль дороги стоял густой дым, плотно закрыв неподвижные вражеские машины. Это лишало видимости и немецких артиллеристов, но танковые орудия били наугад, вокруг КВ ухали взрывы, по броне стучали комья земли.

Неожиданно на дороге поверх плотных слоев дыма, пропоров их, взлетели огненные клинья, земля дрогнула. Потом она дрогнула еще раз. Это рвались от собственных снарядов вражеские машины.

И вдруг укрытый в капонире КВ подбросило. Семена сорвало с сиденья, он больно ударился плечом в правый борт. Дедюхина кинуло вниз, на боеукладку, на него упал Иван, на них посыпались из гнезд пулеметные магазины, вещевые мешки... Вахромеев оказался под сиденьем заряжающего. Один Алифанов вроде не пострадал, он вытащил Вахромеева, по виску которого текла струйка крови, затряс его.

– Вахромеев, Вахромеев?!

– Ну? – открыл тот глаза.

– Ты живой?

– Кто же его знает... Глаза сильно щиплет.

Дедюхин и Иван, потирая ушибленные места, поднялись.

– Бомбой это нас... Чуть не прямое попадание, – проговорил Иван, вытирая мокрое и черное лицо. – Случайно, может?

– Кой черт! Сообщили об нас самолетам по радиации, видать, в бога их... – Дедюхин крепко выругался. – Начадили тут.

В танке действительно было сизо от дыма, и Вахромеев, будто виноватый в этом, сказал:

– Стреляли же. К пушке вон не притронуться, аж краска отстала...

Еще ударил в башню снаряд, броневая окалина брызнула Алифанову в лицо, и тот пробурчал добродушно, будто осуждая ребячье озорство:

– Черти...

Раз за разом, сотрясая землю, рвались бомбы то совсем почти рядом, то чуть подальше.

– Весь курган разроют, мешает он им, – проговорил Дедюхин. И крикнул Вахромееву: – Что там наши-то? Доложи об обстановке, попробуй связаться... Скажи, что одиннадцать танков подбили... Ну, все по местам. Ты как, Семен?

– Ничего, – ответил тот, взбираясь на свое место.

\* \* \*

Вахромеев погиб первым.

...Когда осколком не то бомбы, не то снаряда заклинило башню, Дедюхин, будто сам не понимая этого, выслушал сообщение Алифанова терпеливо и сказал:

– А вы говорили – на тридцатьчетверку надо... Ни один же снаряд броню не прожиг! – И он хлопнул по стальной стене.

– У тридцатьчетверок броня не слабеет.

– Что вы понимаете! – прикрикнул Дедюхин, недовольный даже такой косвенной защитой тридцатьчетверки и, значит, умалением каких-то достоинств любезных его сердцу танков типа КВ. – Вы что, не убедились?

– Ладно вам! – прикрикнул вдруг Вахромеев, словно был старшим. – Надо выползти из этой норы.

– Савельев, что там у тебя? – опять прокричал Дедюхин. – Заведешь?

– Должна завестись старая развалина, – ответил Семен почему-то дерзко. – КВ же, не тридцатьчетверка...

– Получишь у меня взбучку... после боя! – пригрозил Дедюхин, надрывая голос, чтобы перекрыть грохот автоматных пуль в броню.

Танковые орудия противника били теперь редко, из девятнадцати вражеских машин на дороге стреляли только три, остальные горели или просто молчали, покинутые экипажами. Немецкие танкисты поливали неподвижно стоящий в капонире КВ из автоматов, подползая

все ближе. Дедюхин и все остальные понимали, что теперь фашисты, приблизившись к танку, могут подорвать гусеницу или зажечь машину. Вахромеев, черный, как черт, от броневой окалины и порохового дыма, остервенело бил из пулемета, прижимая немецких танкистов к земле. Но Дедюхин и все остальные также понимали, что, пока бьют орудия, а самолеты сверху беспрестанно сыпят страшный груз, немцы на холм, под свои снаряды и бомбы, не полезут. Стреляли и бомбили по-прежнему наугад, потому что холм с приткнувшимся к нему советским танком был покрыт плотными клубами дыма и пыли, он извергался, как вулкан, от взрывов, камни и комья земли беспрестанно взлетали вверх.

– Черт, ничего же не видно! Ты слышишь, Дедюхин? – прохрипел Вахромеев так, будто в этом был виноват командир танка.

И после этого вскрика мгновенно умолкли взрывы бомб и снарядов, перестали даже стрелять из автоматов. Наступила тишина, она была так неожиданна, что оглушила, будто прямо в башню ударила бомба. Машина лишь чуть подрагивала – это работал мотор на малых оборотах.

– Понятно, – произнес Дедюхин и визгливо рассмеялся. – Не думаю, чтобы они думали, что подбили нас, они думают теперь-то подобраться вплотную, чтобы подбить...

Заковыристый оборот командира был понятен всем. Семен знал, какая команда следует вслед за этим, открыл смотровые щели, плотно взялся за рычаги и прибавил оборотов. «Сейчас по щелям и начнут лупить из автоматов», – острым холодом резануло в мозг. Но эта мысль держалась только мгновение, она исчезла, как только раздался голос Дедюхина:

– Поехали! Савельев, вместо хобота у нас палка теперь, ты это помни... Сразу направо давай, там увидим. Жми!

Семену все было понятно, кроме одного – куда вести машину. Да этого ни Дедюхин, ни кто-либо другой из экипажа сейчас не знали.

Танк тяжело, как проснувшийся медведь из берлоги, вылез из земляного укрытия. Семен сразу взял вправо. Впереди ничего, кроме славшегося по земле дыма, не было видно. Дым этот хлопьями, как вата, валялся меж низкорослых кустарников. Едва танк пополз из капо-нира, сразу затрещали о броню автоматные пули, не затрещали, а просто как-то глуховато и безобидно зашелестели, и Семен не думал уже, что какая-то свинцовая струйка может брызнуть в смотровую щель и прожечь его насквозь: он, чуть улыбаясь, представлял почему-то, как автоматные пули-струйки плющатся о броню и бессильно осыпаются вниз, словно подсолнечная шелуха. И еще он думал, что танк – это все-таки танк, стальной гроб, как называют его многие, да и сами танкисты, но этот гроб надо еще расколоть. Неожиданно дымное облако оборвалось, танк вылетел на чистое пространство, на котором стояла брошенная немецкая кухня, а метрах в тридцати за нею окапывалось какое-то подразделение немцев.

– А-а! – заорал Дедюхин торжествуя. – Савельев, вдоль окопчиков!

Семен бросил машину вперед, развернул танк и погнал вдоль только-только начатой траншеи. Конец траншеи уходил вдаль, в дым, по разные стороны от нее брызнули немцы. Они бежали полусогнувшись, будто по дну воображаемого окопа, боясь распрямиться во весь рост. Многие падали под пулеметными очередями Вахромеева, задние перепрыгивали через них. «Как крысы», – подумал Семен, хотя на крыс убегающие немцы были похожи меньше всего. Сжав зубы, он прибавлял и прибавлял оборотов, пытаясь нагнать двух рослых немцев, бежавших почему-то рядом. Он знал, что им никуда от смерти теперь не деться, что он сейчас их сомнет, раздавит...

Танк нагнал немцев у края качающейся дымной стены, один из фашистов, тонколицый, со взмокшими волосами, обернулся, поднял руки, будто сдавался, лицо его было совсем близко от Семена, он видел его вылезавшие от понимания неотвратимой смерти глаза, другой же фашист, горбом выгнув спину, прыгал вперед из последних сил, как задыхающийся заяц.

Танк смял первого немца, даже не покачнувшись. Второй попал под гусеницу спиной, она у него будто треснула, Семен будто расслышал этот треск...



– Справа пушки. Води-итель! – заорал вдруг Алифанов.

Семен мгновенно отреагировал, двинул сразу оба рычага. Вспахав землю, танк развернулся на месте. И Семен увидел впереди четыре противотанковых орудия. Два были прицеплены к тягачам, их спешно расцепляли, а два других были поставлены стволами в противоположную сторону. Семен даже улыбнулся от предчувствия такой легкой добычи, Алифанов их успеет расстрелять в две-три минуты с ходу. Он как-то забыл, что башня заклинена, что ствол орудия превратился в торчащее бревно, которое, правда, могло перемещаться сверху вниз. Орудие действительно ударило прямой наводкой, одна вражеская пушка опрокинулась, как игрушечная.

– Вперед теперь! Вперед-од! – задышал в уши Дедюхин.

Семен до отказа выжал газ, танк ринулся на вторую пушку, которую немцы успели почти развернуть.

– Осталось четыре снаряда, – вдруг раздался трезвый и спокойный голос Ивана Савельева.

«А горючее?!» – прожгло Семена, он глянул на прибор.

– Бей!

Выстрела Семен не услышал, только видел, как вздыбилась под второй вражеской пушкой земля и как на черной подушке приподнялось орудие и в эту подушку же провалилось.

– Товарищ старший лейтенант! Горючее на исходе!

– Чего орешь? Знаю, – сказал Дедюхин. И, помолчав, спросил: – На сколько хватит?

– Километров на двадцать...

– Ясно, – усмехнулся в шлемофоне Дедюхин. – Тут где-то деревня Соборовка должна быть...

– Вань, ты выйди, спроси дорогу, – насмешливо посоветовал стрелок-радист.

Это были последние слова Вахромеева.

– Позубоскаль у меня! – разозлился Дедюхин, не зная, что стрелок-радист уже мертв и ничего не слышит. – Напитался безобразиями от Капитолины своей... Ну-ка, бросай пулемет, попытайся вызвать кого... Может, кто знает, что там, в Соборовке? Вахромеев... Вахромеев!

Но Вахромеев молчал. Пуля ударила ему прямо в лоб. Он немного сполз с сиденья. Кровь двумя струйками сочилась по лбу, капала с грязных бровей на щеки. Но этого никто из экипажа не видел.

\* \* \*

...Соборовка была на виду, за худым лесочком, она вся горела, по окраинам деревни стояли особенно высокие и черные космы дыма. Закручиваясь жгутами, они словно ввинчивались в дымное марево, расплывшееся по всему небу.

– А если там немцы, товарищ старший лейтенант? – прокричал Семен, припав к смотровой щели.

Грязный и едкий пот застилал глаза, хотелось сбросить шлемофон к чертовой матери или хотя бы вытереть глаза какой-нибудь промасленной тряпкой, но сделать было нельзя ни того, ни другого. Танк летел в низину по разрытой снарядами земле, на которой не было живого места, нырял в ямины и с ревом вылетал оттуда, чтобы снова ткнуться в рытвину.

– На сколько ходу горючего-то?

– Совсем уже нет. На этом самом пару едем, который воздух портит...

– Ну вот, а тут авось... Не должны бы они ее взять.

– Вы ж с командиром полка говорили. На Ольховатку раз прут...

– Соборовку они, может, и обошли, а взять не могли, по-моему, – сказал Дедюхин упрямо. – Эх, Вахромеев! Что Капитолина-то скажет теперь, а, Семен?

Семен хотел что-то ответить – что, мол, тут скажешь, да и самим еще надо выжить, – как вдруг мотор, захлебнувшись, почихал и умолк. Тяжелый танк словно врезался в тугую резиновую стену, стена спружинила, но выдержала, стальная громадина прорвать ее не смогла – не хватило силы – и остановилась. Семен качнулся вперед.

– Горючее кончилось! – прокричал он, задыхаясь.

– Самолет-от! «Ю-юнкерс»! – ударил по ушам чей-то незнакомый голос так, что в голове зазвенело. Семен не сразу и разобрал, что это кричит дядя Иван. В эти секунды он все еще думал почему-то о Капитолине, вдруг отчетливо вспомнил, как она, опустив голову, смущаясь, но с нотками радости в голосе произнесла недавно: «Вахромейчик меня вроде зарядил наконец-то». И у него мелькнуло: «А что, если и Оля... если я ее тоже, как Вахромейчик? А Наташка ничего не знает...»

Рядом что-то ухнуло – точно глыба земли отвалилась и упала глубоко вниз. Звук был глухой, нестрашный и что-то напоминал. И Семен в следующее мгновение вспомнил – что. Километрах в семи от Шантары вниз по течению Громотухи был высокий, тридцатиметровый глинистый яр. Вешние воды с каждым годом подмывали его все сильнее. На кромку яра выходить было опасно, она была вся в трещинах, многопудовые глыбины земли время от времени отламывались и падали вниз, в воду. И все-таки в детстве Семен любил туда ходить. Было до жути интересно глянуть с яра вниз, на грозно бурлящую далеко внизу Громотуху. А еще интереснее было найти отслоившуюся уже от кромки яра земляную глыбину, которую удерживали только травяные корешки. Если тронуть ногой такую глыбину, она угрожающе качнется. И часто Семен, стоя одной ногой наболев или менее надежной кромке яра, другой упирался в трещину и, рискуя сорваться вниз и сломать шею, раскачивал отслоившуюся земляную глыбу до тех пор, пока травяные корешки не обрывались и тяжелый, центнера в полтора, а то и больше, кусок глины не летел вниз. Через какие-то секунды снизу доносился глухой и тяжелый звук, похожий на взрыв. «Он походил вот на такой же, как этот», – мелькнуло у Семена, но в следующее мгновение в шлемофоне кто-то тяжело задышал, захрипел: «Кузьмич... Кузьмич...», а танк стал наполняться едким дымом.

– Горим! Спокойно, товарищи... Командира убило. Слушай мою команду...

Это, задыхаясь, проговорил Алифанов, но команды никакой не последовало, а может, Семен ее просто не расслышал. Со скрежетом откинулась крышка люка, и тотчас по броне начали хлестать автоматные очереди. Дым в танке становился гуще, Семена давило удушье, и он будто чувствовал, как накаляется броня. «Остались или нет у Алифанова еще снаряды? – подумал Семен тревожно. – Ведь рванет... Кажется, не осталось... И горючего нет».

Эта мысль почему-то успокоила, будто немецкие автоматчики, поливающие огнем неподвижный горящий танк, никакой опасности уже не представляли, как и сам пожар. Ныло только у Семена сердце, тупо стучало в мозгу: «Вот и Дедюхина... Вот и Дедюхина...»

По броне кто-то снаружи застучал, и как из-под земли донесся раздраженный голос Алифанова:

– Савельев! Водитель... Выходи!

– Семка, ты живой аль нет? Семка-а!

Как он вывалился из люка и оказался на земле, у полусасыпанной траншеи, Семен уже не помнил. Он очнулся от раздирающей боли в легких, открыл глаза и увидел склонившегося над ним дядю Ивана.

– Ну-ну?! – кричал тот, грязный, с разорванной на плече гимнастеркой, которая висела черными, в засохшей крови, клочьями, и страшно сверкал глазами.

– Воздух... Голова от него кружится, – проговорил Семен с жалкой и виноватой улыбкой.

Возле самого лица Семена лежали ноги Алифанова, они шевелились, упирались в землю носками заляпанных артиллерийской смазкой сапог. Командир орудия бил из ручного пулемета куда-то в дымную мглу, стелившуюся низко по земле, вдоль невысоких кустарников.

Семен увидел в этой мгле неясные фигуры, которые то возникали, то исчезали, и понял – это приближаются перебежками немцы. «Вот и Дедюхина... Вахромеева... А теперь и нас всех...» – пронеслось у него в мозгу и словно что-то окончательно продуло там. Он резко перевернулся со спины на живот, обнаружив, что в руках у него автомат. Вываливаясь из танка, он, видимо, машинально схватил оружие. Когда в дыму замаячили две вражеские фигуры в касках, Семен полоснул по ним длинной очередью. Фигуры исчезли. Немцы то ли были убиты, то ли просто прижались к земле – понять было нельзя.

– Бей прицельно. Поставь на одиночные, – сказал Иван, и Семен поразился его спокойному голосу и этому хотя и практичному – ведь у Семена был всего один диск, – но уже, наверное, бесполезному совету.

Сам Иван, у которого в руках был тоже автомат, не стрелял. Он лежал, вжимаясь в землю, уткнув в травяную кочку заросший подбородок, смотрел туда, где струился клочковатый дым. Автомат он держал в левой руке за ствол, а в правой, вытянутой вперед, у него была граната лимонка, и он чуть подбрасывал ее, перекатывал на ладони, как горячую картофелину.

– Ну что ж... Семка, – тихо проговорил он вдруг, не оборачиваясь, все так же напряженно глядя вперед. – Всяко я думал в жизни своей помереть, а так хорошо не думал. Обойдут они сейчас нас...

Эти слова принесли Семену еще большее облегчение. То невысказанное и болезненное, что, казалось Семену, Иван носил в себе, всегда рождало неприятную мысль – дядя его, кажется, тяготится войной. «Не ошибетесь в нем», – говорил он, Семен, Дедюхину в Челябинске, рекомендуя взять в свой экипаж, да, видно, поспешно сказал... Дело свое солдатское он делал всегда, правда, хорошо, ни в какой обстановке не терялся. Дедюхин часто его ставил даже в пример, но иногда в сердцах называл «молчаливым пнем». Иван действительно говорил только о самом необходимом, когда без слов нельзя уже было обойтись, старался по возможности уединиться. Семен часто натывался на него, сидящего где-нибудь в одиночестве, погруженного в какие-то мрачные думы. Ну, война, конечно, не сладкая ягода, тут и помрачнееешь порой, и затяготишься, но у дяди Ивана вроде что-то надломилось внутри, и он все время будто боялся быть убитым. И опять же – смерти не боится и не остерегается только дурак, но вот дядя какой-то... И по малодушию в тужой случай можно погибнуть, стоит в такой момент окончательно сломиться внутри. А дядя, казалось Семену, к этому и идет... Эта мысль была неприятной, она оскорбляла что-то в нем самом, но она родилась и жила в мозгу. Но вот такой случай и настал, а в поведении дяди Ивана нет и намека на то, что он сломался и вот боится смерти, и слова, и голос, усталый и хриплый, будто приоткрыли Семену в дяде Иване человека нового, доселе ему незнакомого, неизвестного.

– Мы не померли еще, – сказал Семен упрямо, стараясь возразить кому-то, но только теперь не дяде Ивану.

– Ну, это живо может произойти. Жалко мне только Агату, Сем... Ясного света тогда и вовсе не увидит...

Где-то вверху загудел противно, приближаясь, вражеский самолет, заглушив последние слова Ивана. Самолет брызгал вниз тяжелыми свинцовыми каплями, они прошли землю в двух метрах от Семена, с ревом пронесся над головой, блеснув желтым, как у застарелой щуки, брюхом. Тотчас густо ударили немецкие автоматчики.

– Вы, Савельевы! – Алифанов, надрываясь от крика, повернул к ним круглое, но какое-то исхудавшее лицо со странно торчащим правым усом. – Шанс у нас, ежели он есть, один. Вдоль этой дымной полосы от нашего танка... Попробуем!

Их КВ горел не очень сильно, но чадил густо, темная дымная полоса стлалась вдоль земли в сторону Соборовки, накрывая маячивший неподалеку перелесок. Иван и Семен поняли, о чем говорит Алифанов, но ведь кто знает, где немцы... Не шарит ли этот дымный хвост по окопавшимся в той стороне немцам? Да и в перелеске могут быть уже фашисты. Но шанс был

действительно только этот, если он еще и был. Это не только Алифанов, но теперь и Семен с Иваном сознавали отчетливо.

– Ну что ж, Семен...

– Счас они полезут! – опять прокричал Алифанов, отталкивая бесполезный теперь ручной пулемет с расстрелянным магазином. В ладони у него была зажата граната, такая же, как и у Ивана, другой рукой он вытаскивал из кобуры пистолет. – Давайте мы их уложим к земле – и дёру. Иначе...

– Командира-то с Вахромеевым оставлять им...

Это прокричал Иван.

– А что мы можем? Ты соображаешь?! Приготовиться!

Сделать они действительно ничего не могли, вытащить из танка трупы Дедюхина и Вахромеева было невозможно. «Вот судьба...» – больно задолбило Семену в виски. Там, внутри этой железной коробки, обуглятся их тела, а может, сгорят в прах, нечего будет и хоронить. И не будет на земле их могил. Сгорели в пекле войны... Сгорели в пекле войны... Вот уж точно – в самом пекле они сгорели, такая выпала им доля... Когда-то родились они, в радостях и заботах нянчили их матери, защищали от холода и от жары, от всяких напастей, росли они, радуясь солнцу и ветру, далеким, таинственным звездам и мягкой, пахучей траве. И росли для них где-то девчонки, как вот Наташка для него, Семена... Настал момент, прикоснулись их руки впервые к самому, может, прекрасному на земле – к женскому телу. Когда и как это было у Дедюхина, Семен не знает, ему только известно, что у старшего лейтенанта, кажется, трое детей... А у Вахромеева это случилось недавно, все произошло почти на глазах у Семена. И он, Семен, видел, как быстротечно произошла у Вахромеева с Капитолиной вся любовь. Он видел и понимал, что это у них настоящее и человеческое, только вышло все стремительно, не как обыкновенно, – будто бешено понеслась жизнь, как на киноэкране, если пленку прокручивать в десять раз быстрее. Что ж, оба понимали, что для обыкновенной любви у них не было времени, хотя никогда об этом не рассуждали, не размышляли... И ни Вахромеев, ни Дедюхин не знали, не могли знать, что жизнь их окончится вот здесь, на изрытом бомбами и снарядами поле, близ русской деревушки Соборовки, о которой они и слыхом никогда не слышали, что тут ждет их такой конец...

Все эти мысли пронесли в голове у Семена лихорадочно, в какие-то секунды, не отключая его внимания от залегших в нескольких десятках метров немцев, которые непрерывно поливали из автоматов. Пули вокруг взрывали землю, трещали о броню танка, и Семен даже слышал, как некоторые рикошетили и с пронзительным визгом разлетались в стороны. Было только странно, что ни одна из них не задела еще ни дядю Ивана, ни Алифанова, ни его самого. И еще мелькнуло у Семена, что судьба у него пока счастливая, радуйся, Наташка... Только бы вот из этого пекла выбраться!

...Что ж, из этого пекла Семен и Иван Савельевы выберутся живыми и невредимыми, сейчас, когда немцы поднимутся для броска и в эту секунду немного ослабнет их огонь, Алифанов яростно прокричит: «Дав-ва-ай!» Он, Семен, и дядя Иван начнут палить из автоматов, немцы опять залягут. В это время Алифанов и дядя Иван бросят по одной гранате. Немцев они не достанут, но на несколько мгновений ослепят, и этих мгновений будет достаточно, чтобы всем троим юркнуть за горящий танк. Потом они нырнут в густую полосу дыма и, разогнувшись там во весь рост, побегут, как в густом тумане, неведомо куда, задыхаясь и от дыма, и от быстрого бега. Пули будут свистеть вокруг, но опять никого не заденут, только потом, уже в перелеске, где немцев, на счастье, не окажется, когда каждый радостно подумает: «Неужели выбрались?!» – Алифанов вдруг застонет как-то негромко, радостно, выронит пистолет, схватится обеими руками за тонкий березовый ствол и повалится столбом в сторону, на Ивана, до самой земли согнув податливую березку, так и не выпустив ее из коченеющих пальцев, так и умрет, будто в обнимку с ней... Из этого пекла они выберутся и принесут к своим бесчувствен-

ное тело Алифанова с простреленным затылком, дядя Иван, обожженный, с окровавленным чужой кровью плечом, прохрипит какому-то пехотному капитану: «Вот! Герои тоже умирают иногда... от пули в затылок», – и Семен еще раз подумает, ощущая радостный, облегченный холодок в животе, что судьба у него счастливая. Откуда же ему было знать, что, хотя и ни одна пуля его не заденет и в дальнейшем, судьба у него сложится так, что он не раз позавидует и сгоревшим в танке Дедюхину и Вахромееву, и погибшему от шальной пули в затылок Алифанову... Этого он не знал, как ни один человек не знает, что ему написано на роду, что готовит ему судьба завтра, послезавтра, через год, через двадцать лет... Он пока лежал, вжавшись в землю, горячую, разогретую то ли бомбами и снарядами, то ли полыхающим где-то за дымами, затянувшими густой пеленой все небо, жарким июльским солнцем, слушая, как грохочет над головой о броню их сгорающего танка свинцовый горох, смотрел на Алифанова. В левой руке у того был пистолет, в правой – граната...

...Немцы поднялись кучками все враз. Алифанов повернул к Семену перекошенное в крике лицо, одновременно махнул пистолетом:

– Да-ва-ай!

\* \* \*

Анфиса Инютина всю ночь не спала, одиноко ворочаясь на широкой деревянной кровати, слушала, как сопит в углу Колька, сын, разметавшийся на старом тощем матрасе, брошенном прямо на крашеный пол, как кашляет за дощатой дверью эвакуированная из Одессы еврейка-учительница Берта Яковлевна, поставленная к ним на квартиру через несколько месяцев после ухода Кирияна на фронт. Учительница была не очень старая, неопрятная, много курила, роняя пепел на бугристую грудь, затянутую обычно засаленным черным халатом. Вместе с ней жили две ее шестнадцатилетние дочери-двойняшки Майя и Лида, носатые, глазастые, обе такие же, в мать, крупногрудые, по характеру общительные, хохотуны. Все втроем жили в крохотной Веринной комнатухе, в которой невозможно было повернуться, дочери спали на тесной кровати, а сама мать – на сундуке, подставляя к его краю два чемодана, чтобы с сундука не свисали ноги. Днем чемоданы ставились на сундук.

С вечера захлестал ветер, потом утих, в стекла начали стучать одинокие и тоскливые капли дождя. Анфисе захотелось отчего-то плакать, в груди было пусто, неприятно, как на ночной деревенской улице в эту вот непогодную летнюю ночь. Она лежала, скрестив на мягком животе усталые руки, закусив губы, чтобы не расплакаться. Потом дождь припустил, за окнами словно кто-то принялся мотать лейкой, обливая черные стекла. Анфиса будто только этого и ждала и под неприятный шум дождя облегченно и беззвучно заплакала.

Дождь кончил барабанить по стеклам, и она перестала плакать, вытерла горячими пальцами слезы, перевернулась на бок и стала думать о Кирияне, о детях, о всей своей жизни – несладкой, неудавшейся и безрадостной. Кто она и зачем она на земле? Эта мысль пришла к ней неизвестно когда, поселилась в ней незаметно и стала мучить жестоко; внутри, в самом сердце, шевелилось, ворочалось что-то беспокойное и безжалостное, больно обдирая самые чувствительные места. Она перебирала в памяти всю свою жизнь, пытаясь отыскать там хоть щелочку, из которой пролилось бы сейчас на нее что-нибудь теплое, обогревающее радостью, но такой щелки не было. Все позади было мутно и омерзительно. Жили зачем-то в этой мутной пелене Федор Савельев, Кириян, ее муж, Анна, жена Федора, и она сама, Анфиса. Она по первому взгляду, по первому намеку бежала, потеряв голову, к Федору, отдавалась во власть его безжалостных рук, не страшась побоев Кирияна, пересудов людей. Федор мял и крутил ее, как тряпку, ей было хорошо и приятно, а вот теперь, задним числом, пришло вдруг омерзение ко всему этому, пришла жалость к Кирияну, не любовь, не стыд и раскаяние за прошлое, а просто мучительная жалость, в ней прибывало желание остатком своей жизни оплатить все

страдания Кирьяна. Ей не надо его прощения, такое, наверное, простить невозможно, и пусть, это даже хорошо, что она каждую минуту будет чувствовать свою вечную вину, но тем сознательнее... и тем старательнее она ее будет оплачивать. Пусть не прощает, но пусть возьмет во внимание, что Верку и Кольку она от него родила. «Господи, – взывала она молчаливо, в исступленной благодарности к кому-то, – как еще на это у меня ума хватило! Тогда бы и вовсе хоть в петлю...» Хватило, наверное, потому, что Кирьян – Анфиса всегда это понимала – душой добрый, отзывчивый. Она у него, душа, беспомощная и сильно ранимая, и, когда он остервенело хлестал ее, пьяный, где-нибудь в кустах или в темном сарае, Анфиса чувствовала, что ему самому больнее, чем ей, что он себя истязает каждый раз тоже до крови, только кровь сочится у нее снаружи, а у него внутри. И вот это странное чувство никогда не позволяло ей сердиться на мужа за самые зверские побои. Он бьет ее, бывало, а ей его жалко, и чем сильнее бьет, тем сильнее ее жалость к нему. Однажды, еще когда в Михайловке жили, Кирьян откинул прочь смокший в ее крови ремень с железной пряжкой, сел в кустах на землю, уронил голову и бессильно заплакал. Она, в кровоподтеках и вздувшихся багровых рубцах, с трудом поднялась, подошла к нему, пошатываясь, одной рукой поддерживая лохмотья кофточки на груди, а другую протянула, погладила его, как маленького, по голове, всхлипнула:

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.